

Надежда
Чернова



КУДЫКИНЫ ГОРЫ

Цикл рассказов

ЧАСТЬ I

ВИНА

1

... И подскакивала на колдобинах телега: вся играла, тренькала, дребезжала, вскрикивала. Гремели пустые молочные фляги – пели-переговаривались. Подковы у коня Кучума звякали о камни. Смешно Полине. Хохочет, запрокидываясь на ворохе сена, сама не знает, отчего: смешинка в рот попала! Вдруг, будто место заколдованное, – встал Кучум, глазом фиолетовым косит. Фляги притихли. Телега и вовсе умерла. Вырос на дороге человек. Парень. Полина даже зажмурилась – такой красивый, будто с неба сошёл, и голоса вокруг слышно – из травы, из леса, с облаков: «Это он! Это он!»

Вот так встретила она и полюбила Саню. С первого взгляда.

С тех пор бесшумно катилась телега с флягами. Полина Ветлугина ездила за молоком на ферму, а потом с ним – на сдаточный пункт. Бесшумно вышагивал вороной конёк. И сама она не слышала под собой дороги. Всё витало, парило над землёй. И только единственный голос проникал в её сон – Санин.

Полина ходила к нему за пять километров, в соседнее село Сосновку, где он работал шофёром в бригаде. Начальство возил и, так, на подхвате был.

Сидела, как поражённая молнией, возле бревенчатой конторы, смотрела на него. Посидит, посмотрит – идёт назад, к себе, в деревушку Пескариху. Иногда он провожал её через лес. По дороге рвал бестолково цветы. Где под корень, где одни головки отрывал. Неловко совал Полине. Она краснела. Стеснялась. Дома ставила цветы в банку и не спала: всю ночь глядела на них и представляла разные картины с Саней: она и Саня.

Полина Ветлугина не была красавицей. Обычное русское лицо – серые глаза, русая коса, но некий свет сиял из её души и делал облик её особенным – притягивал взгляды. Сходились в ней два огня: чистота и страсть.

Однажды Саня повёл её кружной дорогой. Попадался частый хвойник, бурелом, идти было плохо, но Полина молчала. Шла. Дошли до чертогоря, полного



медуницы. Качалась, качалась сильная трава, переполненная соком, тяжёлыми гроздьями цветов, жадными до солнца и влаги листьями. Целый день без устали летали к ней пчёлы, шмели, бабочки, мелкие мухи – и никак не могли вычерпать до дна мёд своими гибкими хоботками.

Саня потянул Полину за руку, и они нырнули в этот овражек, задохнулись от медвяного запаха, полетели над землёй. Грудь Полины коротко вздрагивала, и губы потемнели от поцелуев. Но дальше Саня не пошёл.

– Не спеши... – только и сказал. Он оправил ей платье, сильно заголившееся. Полина отвернулась, взблескивая слезами.

В овражек они стали ходить каждый вечер. Полина начала смелеть, и Саня несколько раз охнул:

– Ну, и бабой же ты будешь! Даже страшно...

Однако он по-прежнему берёт Полину, повторяя:

– Не спеши...

И она сглатывала слёзы. Дома думала, изнемогая в душной постели: «Какой же он честный, Саня, как жалеет меня, другой бы разве так? Он тихий, славный. Я его тоже буду любить тихо, терпеливо...». Ей хотелось и дальше думать о нём так, но белая молния пробежала неровно по телу, вызывая озноб. Твёрдые, как градины, слёзы больно колотились в закрытые веки, срывались на пылающие щёки, и нарастающее томление поднималось от кончиков ног к самому сердцу. Полина соскакивала, металась по сенам, где спала, – в горнице было ещё жарче – пила залпом ледяную воду. Она проливалась, катилась за ворот широкой рубашки – Полина донашивала старое отцово бельё из домотканого полотна, а самого отца да и матери у Полины давно уже не было. Одна жила. Вода припадала к её груди. Прикосновение струй ещё больше будоражило Полину. Она видела в темноте гладкий столб, подпиравший матицу. Стоит. Смотрит. Полина ладонями закрывала на нём круглые глазки, прижималась к нему – сначала щекой, потом всем телом. Он был так же крепок, как и Саня, и пахли они одинаково: лесом, дымком – счастьем.

Еле дождалась Полина другого дня. Бежала, бежала по лесу, а он всё не кончался, будто за ночь вырос. Прибежала – пуста контора. В поле помчалась. Нет Сани! Трактористы махнули рукой: в город поехал, кассира за деньгами повёз на полutorке, к вечеру будут, куда денутся.

Горела вся Полина. На ферму прилетела, не помнит, зачем. Фляги ей в телегу загрузили, повезла, а тоже не помнит, зачем это надо. Кучум дорогу знал – сам дошёл до сдаточного пункта. На обратном пути бросила его Полина. Кучум постоял немного, тряся головой, негромко позвал Полину, потом тихо тронулся к дому, а Полина шла наугад через низкие сосенки, ежевичник, через какие-то прутья и колючки. Саня вырос перед ней, как и в первый раз, будто с неба упал. Бросились они друг к другу. В исступлении целовала его Полина – он не успевал отвечать ей. Забыл про своё «не спеши». Всё забыл. Но так много сил выплеснулось в первые минуты, что он заплакал. Полина гладила его по разлохмаченной детской голове, плечам, жалко вздрагивающим, видела его обнажённые в страдании крупные зубы, как у коня, и они ей были неприятны. Она передёрнулась, отвернулась.

Они с Саней продолжали встречаться, но Полина снова была будто молнией поражённая. Сане больше не давалась, и он мучился, шёл на всякие хитрости, но она была непреклонна. Так минуло лето.

... И наступил этот роковой вечер. На сдаточном пункте работал приёмщиком Кирилл Марков. Кирилл Саввич. Года на три всего и старше-то Полины, а никому в голову не приходило называть его просто Кирилл, либо Кирюша. Как же, Кирилл Саввич! Так держал себя. Он вроде бы и не ухаживал за Полиной. Молчком всё. Кто его разберёт, что там у него на уме? А тут будто почуял, что с девкой творится, будто стерёг момент. Встретил вечером в лесу, на поляне со скирдами. Шла она, понурившись, от фермы домой, косынку по земле волочила. Кучум давно ушёл вперёд. Со спины подкрался Марков, обнял Полину – сильно и властно. Она вскрикнула сначала, а потом, будто заколдованная, подчинилась ему. Он повёл её к скирдам. Расстелил серый пиджак. Кепку аккуратно рядом положил. Безропотно отдалась ему Полина, будто так и должно быть, будто давно жена она ему. Облегчение и прежнюю невесомость пережила она. Лежала молча, не глядя на Кирилла Савича, словно и не было его вовсе рядом.

Кирилл Савич отряхивал сennую пыль с брюк, покачивал головой:

– Надо ж, девка, оказываться... Девку взял. Не думал... Прозевал тебя твой Саня. Моя ты таперача!

Она не видела Маркова, и слова его не задевали Полину. Очнулась уже дома, ночью. Вдруг заплакала, запричитала, будто покойника только что вынесла в сосновый бор, на песчаный яр. Нет, не своё поруганное девичество оплакивала она. Она впервые, может быть, поняла, как любит Саню. Любит так, что и осмыслить невозможно. И ещё она поняла, что любовь, которая отпускается человеку на всю его жизнь, выпала ей сейчас, полностью, вся целиком. Другой никогда уже больше не будет. И вот, не уберегла она её, растратила. Господи ты, боже мой! Зачем теперь вся остальная жизнь? Пуста без Сани, а хода к нему нет. Влазень-Марков перегородил дорогу.

Страшная встала она наутро. Сгорело у неё внутри всё. Кучум, фыркающая квадратными ноздрями, шархнул от Полины. «Мёртвая...» – поняла она. И доярки на ферме замолкали, едва она появлялась. Глядели странно. Если бы за нею теперь перестала падать тень, то никто бы не удивился, наверно.

Когда привозила она фляги на сдаточный пункт, Кирилл Савич по-хозяйски оглядывал её, поправлял ей разбитые ветром волосы, косынку на шее, как если бы во дворе у себя приводил в порядок солому на крыше или оторвавшуюся в бурю ставню. То, что они теперь с Марковым будут жить вместе, само собой разумелось и не волновало Полину. Мучила её дорога через лес, в Сосновку, откуда ждала она Саню, а он всё не ехал. Хотелось поскорее покончить со всем, что осталось по ту сторону жизни, и в то же время Полина боялась встречи, потому что всё ещё надеялась: может, как-нибудь так окажется, что не было ничего с Кириллом Саввичем, просто, сон страшный приснился. И любовь её цела, ведь чувствовала она её сильно, сильнее, чем когда-либо, но рядом с нею теперь постоянно была смерть, это, непостижимое разумом, «никогда»!

Однажды она проснулась под утро, будто от подземного толчка. Нетерпеливая тревога поднималась откуда-то из глубин её потрясённого тела. Мёртвая доселе, она будто нашла едва заметный, тонкий, как волосок, брод через смерть к жизни.

Лихорадочно надела на себя, что под руку попало, взлохмаченная со сна, кинулась из дому, через огороды, через илестую утиную речку, мелколесье, заросли

ежевике, по мокрой траве и ржавой хвое бежала она, чувствуя во рту горький вкус крови – так искусала губы.

Этот же подземный толчок, что поднял на рассвете Полину, разбудил и Саню. Накануне он две недели был в командировке, в областном центре, где вместе с директором лесхоза добывал запчасти для сосновских тракторов. Приехали поздно, уже за полночь, когда упала холодная роса, а часа через три Саня вскочил от непонятной тревоги. Потом вспомнил: «Поля!» – и счастливая волна окатила его. Он быстро собрался, зачем-то сунулся на половину матери, долго глядел на неё и сам смутился своего неожиданного порыва. Вышел тихо во двор. Машина стояла там: куда же ночью гнать в гараж? Он завёл мотор, то и дело оглядываясь, ожидая, не выйдет ли мать.

Она с вечера всё пыталась сказать ему про Полину и Маркова, да не насмелилась, на утро оставила.

– Ладно, спи, сынок, спокойно... – Перекрестила его, и, вздыхая, ушла к себе. Пожалела.

Он быстро выехал в лес. Нёсся, сломя голову, будто на пожар, в Пескариху. Руки дрожали, руль вырывался, и машину заводило в сторону. На бешеной скорости вылетел на берег реки, увидел на берегу Полину – и в этот миг машина его сорвалась с песчаного яра, задушенного мощными корнями красных сосен. Кувыряясь, полетела к реке. Грохнуло чёрное пламя, и всё замерло.

Когда привезли обгорелого Саню в Сосновку, когда в гроб положили и накрыли лицо ему простыней – смотреть было страшно, когда закричали с новой силой старухи в чёрных платках – плакали взаимы, Полина молчала. Слезы не уронила. И люди смотрели на неё с опаской.

Полил дождь, размывая свежий холм. Люди побежали в деревню. Полина осталась одна, и все вздохнули с облегчением, что она не пошла с ними. Мать Санина ничего не видела. Её тащили под руки. Глаза у неё опухли от слёз, совсем не раскрывались. Она потом, говорят, с месяц слепая лежала.

Ждать больше было нечего, и Полина вышла замуж за Кирилла Саввича. Пустая, она не находила разлада с собой в его доме. Кирилл Саввич по-прежнему был степенным и чинным. Ходил осторожно, аккуратно, точно золотой ниткой шил. Любил молодую жену, как зверь любит свою добычу: выслеживая, играя с ней, растягивая охоту. Всё молчком. И она любила его звериной любовью – жадно, ненасытно. О Сане Марков никогда не упоминал, будто и не было его вовсе промеж ними. И она молчала.

3

Очнулась Полина, когда война началась, когда ушёл Марков на фронт, и вскоре получила она похоронку на мужа. Много тогда в их деревню и в соседние этих бумажек приходило, будто махом одним, разом выкосило мужиков. Завыла Полина, а потом вздохнула с облегчением, и сама испугалась:

– Господи, легко-то как стало! Сказать кому – грех...

Стала жить дальше. Румянец на лице появился. Чувствовала она по утрам удовольствие от колодезной воды, которой умывалась, от чистого прохладного полотна утиральника, от горячей земли под босыми ногами, от воли за рекой

Пескарихой. Там парили заливные луга. Полина с бабами ходила туда косить. Стал всё чаще звенеть её, молодой ещё, голос. Она пела и рукой доставала до зелёного месяца – с телеги, полной сена. Но чем дальше шла война, тем угрюмее становились женщины лесных деревень. Не до песен стало. И Полина Ветлугина примолкла, как подстреленная птица. Хромала её телега, гружённая мешками картошки, понурившись, плёлся Кучум.

Вот тут-то и появился в их деревне комиссованный солдатик Яник Богорад. Сбежал он на фронт семнадцатилетним, приписав себе год, полтора года провоевал – ни царапины, а потом в одночасье получил и тяжёлое ранение, и контузию. Жила у него в этой лесной стороне троюродная тётка, старая дева Магда, а другую его родню немцы сожгли – загнали в сарай, заперли и подожгли. Некуда ему было ехать после госпиталя. Вот он и подался к тётке. Тётка давно жила в Пескарихе – с тех пор, как раскулачили её семью да сослали в Сибирь. Тут и лежат, в этой земле, обнявшись корнями барвинка, густо облепившего низкие холмики: и мать с отцом, и бабка с дедом, и братья Магды, умершие молодыми в голодной ссылке. А Магда выжила. Яник, хоть и дальняя ей родня, а всё ж родня, и она рада была племяннику, но не умела это показать. Суровая, мужиковатая, она даже не обняла его, сказала только:

– Заходи в хату, коли живой!

А сама любовалась племянником, млело её каменное сердце. Лечила изуверченного солдатика травами да козьим молоком. Жила она одиноко, бедно, но зато уж воздуху лесного, целебного у неё было с избытком, хоть снова раскулачивай, да не додумались ещё с воздуха подать брать.

С ранением Яник договорился – затягивались раны на груди, подбитая нога хоть и хромала, но ходила, а вот с контузией не ладил. Она мучила Яника припадками и краткими потерями памяти. Но на козьем молоке, на целебных травках, на чистом хвойном воздухе стал Яник поправляться, о жизни думать, сны любовные ему снились, хотя любви он ещё не знал и даже не целовался ни разу.

Молодые женщины и девки заволновались: что ж, пусть и припадочный, и хромой, а всё равно мужик! Переворошили довоенные сундуки, мелькали, наряженные, перед окнами Магды, но суровая тётка гневно плевала им вслед, и такие отпускала словечки, что сосед её, столетний дед Ефим, тряс пуховой своей головкой:

– Якирь тебя-то, Магда! Такой бранкой, да сапоги подбивать – сносу не будет!

А Яник только смеялся. Он был хорошенький, с ямочками, почти девичьими, на нежных щеках, и знал, что хорошенький, но в амуры пускаться пока не решался – боялся своей болезни. Так прошли осень и зима, а потом наступила весна. Жаворонок в небе завился, луга очумели от разнотравья, и хмельные стрекозы, качаясь, закручиваясь в спирали, падали в кудрявый клевер. Жизнь кипела, переливалась через край, будто хотела доказать войне, что никакая смерть не пересилит жизни. Вот тут-то и рассмотрел Яник Полину. Сначала не обратил внимания, да и вдова, а потом будто молния его пронзила – увидел, какая она! Был он её моложе и видом мальчишка, но разве любовь разбирает да считает? Выходил он Полину, выклянчил её согласие. Замуж за припадочного не пошла, а жить стала. Ей было всё равно. Живёт – пусть живёт. Уйдёт – пусть уйдёт. Смеётся – и она вторит ему, будто эхо. Замолчит – и ей вроде говорить не о чем. А он, Янька-то, расправился

поздоровел, совсем красавцем сделался, усы пшеничные отпустил для важности. Вылитый пан! Быстрый, молодой, горячий. Комод старинный у соседа Ефима купил. На что ему? У него и добра-то нет на все эти многочисленные ящики с секретами. Нарядов Полине раздобыл у баб – им тоже они зачем? Мужиков-то в округе больше нет. Лежат где-то в чужом горькозёме. Ничем их не поднимешь!

Магда, наблюдая за любовными хлопотами племянника, ещё больше каменела, материлась, и, вынося помои, зло переплескивала их через Полинин плетень. А той хоть бы хны! Приберёт во дворе и живёт себе дальше, Яньку дразнит своей призывной красотой.

Ещё обменял Яник на кирзовые сапоги фотоаппарат у сосновского дедка-пасечника, получившего похоронку на сына ещё с финской войны. С появлением фотоаппарата Полина немного оживилась. Яник всё щелкал, щёлкал, суетился. Потом снимки по стенкам развешивал. Куда не глянешь – всюду Полина.

– Ты одна, – говорил, – и есть на свете! Никого больше не вижу!

Вот она в полный рост. День летний, высокий. Стоит Полина, прислонившись к дверной притолоке. Руки голые. Полные, загорелые. Вошла Полина в бабий цвет, округлилась. Ворот блузки распахнут. Грудь округла. Всё плавно в Полине, мягко. И лицо – круглое, свежее, разморённое летним днём, тишиной. Наверно, рядом где-то стоят вёдра. Фотограф забыл о них, её только видит. На мгновение задержалась она на крыльце и теперь же пойдёт, лениво подхватив вёдра.

При Маркове небытие Полины было лихорадочным, тёмным. При Богораде всё наполнилось ярким, почти нестерпимым светом, зноем лесного лета, томительными запахами хвои и цветущей травы, но это тоже было небытие, потому что Полина не помнила себя, со стороны себя видела, как чужую.

Поздней осенью Полина забеременела, и Яник был на седьмом небе от счастья. Работал он на тракторе, и Янику казалось: трактор не тарахтел, а тоже пел от счастья, как и Яник. Трактор Яник знал с детства – с отцом в поле работал и на фронте танком управлял, так что в колхозе сразу оказался в почёте. Считай, один путёвый тракторист на всю округу. Остальные-то мужики – пацаны-недоростки. Матерщинница Магда ходила в бригадирах. Большинство баб теперь работало не только у себя в Пескарихе, на овощах, на сенокосе, на ферме, но помогали и в Сосновке, на лесозаготовках. Народу в Сосновке было ещё меньше, чем в Пескарихе, и деревни объединились сами собой. Называли себя в шутку колхоз «Вдовий».

Худые, чёрные, с запекшимися губами, бабы с ненавистью смотрели на растущий живот Полины, на её румяное, молодое лицо. Она не замечала их взглядов, не слышала змеиного шипения Магды:

– У-у, блуда! Кто ж тебе брюхо-то надул! Янька не могёт, он взорванный, не могёт, – мене фельдшерица казала.

– А чё ж тогда он ходит до неё? – пытали бабы.

– А чё ж не ходить? Она ж липучка, ведьма – присушила! У ей ведь глаза бесстыжи, как яйца у барана!

Тут бабы оживали, в хохот даже пускались:

– От гляделок, чё ли, брюхо-то у ей выросло, или уж ветер надул?

– Похоже, ветер! – издевались бабы над Магдой. – От деда Ефима! Он же у ей в суседах. Гороху натрескаться – вот тебе и ветер! А если не он, то уж и не знаем, кто, разве что Святой дух...

– А-а, мать-перемать! Не языки, а хрен на взрочке! – плевала на них Магда, но слова, конечно, и другие говорила, покрепче, мы таких и не слыхивали.

Пока бабы донимали злую Магду, Полина молча сидела на поваленной сосне, жевала холодную картошку. Передышки были короткими. Работала она, как и все, в колхозе с утра до утра. Но Яник воспротивился, накричал на баб, на Магду и запер беременную на седьмом месяце Полину во дворе: война войной, а жизнь никуда не денешь. В Полине не было сил сопротивляться. Как хотят, так пусть и будет.

Снова май. День высокий, жаркий. Крыльцо горячее – тут же раскаляет блисточие вёдра, но из колодца поднимается свежее дыхание воды, и Полина нарочно проливает вёдра, чтобы снова наклониться над гулким срубом, снова набрать живой, тяжёлой воды. Вода волнуется, дышит, вырывается из ведёр, а Янька фотоаппаратом щёлкает. Все стены в доме в фотографиях Полины. Проявляет их Янька ночью, а утром, до свету ещё, мчит в бригаду, а то и ночует там. Одна остаётся Полина. К жизни, что завязалась в ней, она так же равнодушна, как и к Яньке, и к осуждающим её бабам, и к шипящей Магде. Комод, и тот, норовит Полину больно задеть пузатым своим туловом, мстительно блестя начищенными ручками. Ненавидит! Но и к нему равнодушна Полина, и к нарядам, что запихал Янька в этот комод для неё.

* * *

Ночью ей приснился сон, да так ясно, будто наяву было: Саня! Глаза огромные, синие, радостные. И солнце кругом, яркий летний день, хоть на самом деле весна. Стоит Саня посреди поля – в небо макушкой упирается, такой высокий. А она, Полина, крошечная, с гриб-дождевик, снизу вверх на Саню смотрит, и сердце у неё обмирает. И говорит он ей:

– Пойдёшь со мной?

– Пойду!

Но не двигается с места. Вдруг будто холод какой дохнул ей в затылок. Обернулась – и там, за спиной, Саня стоит, но уже глядит на неё жутким взглядом, похожим на чёрный провал. И опять спрашивает:

– Пойдёшь?

Тихо спросил, не размыкая чёрных, обугленных губ, и вокруг ночь была, тьма непроглядная. Затрепетала она:

– Пойду! Пойду!

И снова ни с места. А самой жутко, но вроде нет ей другой дороги, кроме как за Саней идти. И повёл он Полину за собой – длинной безлюдной дорогой, и ветер завывал со всех четырёх сторон, и стонал ветер, и выл, будто оплакивал Полину. Босая, в длинной белой рубахе, шла она долиной ветра. И вдруг картина переменялась. Бежит она по огню, который пылает у неё под ногами. Белая рубаха вздулась колоколом. Пылает огонь, сжигает её, печёт нестерпимой болью. Нет конца долине, но впереди уже виднелась деревня, знакомый луг, мелколесье. Обернулась она на Саню – нет его рядом, вдалеке маячит. Совсем далеко, но всё так же высок, столбом дыма стоит. Но уже не один, а с маленьким ребёнком на руках. Потом растаял в огне, который продолжал жечь Полину. Закричала она во сне, раздираемая нестерпимой болью:

– Чей это ребёнок? Чей? – И проснулась, вся в липком поту, в горячке. Через полчаса выкинула она из чрева младенца, которого тут же забрала от неё страшная Магда:

– Явился, выпердыш!

Он даже и крикнуть не успел – умер.

Яник плакал, а Полина была безучастна ко всему, будто, в самом деле, вернулась оттуда, откуда никто не приходил.

Несколько дней длилась её агония. Она металась, бредила. Когда пришла в себя, вспомнила: Саня! Вот как, не умер он для неё. Жил всегда рядом. Шёл за нею всюду, куда шла она. Вот как! И пронзила поразившая Полину в миг страшного пробуждения истина:

– А ведь это я Саню убила! Я убила, – говорил ей холодный голос. – Если бы я не предала его, он бы жил...

Но другой, горячий голос, говорил ей:

– Нет, ты не виновата! Ведь он так и не узнал о твоём предательстве, так как же оно могло убить его? Вздор, всё вздор! Он летел ко мне, а я к нему. Мы бы обнялись, и он бы всё простил. Да, да, он бы простил! Случись с ним такое, и я бы простила... Поплакала бы сначала, а потом простила...

Но жестокий барабан стучал в висках:

– Не простил! Он умер...

Откатывалась красная волна тяжёлого жара, тонко начинала звенеть кровь, как летние цикады:

– Года не справили Сане, как война началась. Был бы он жив, ушёл бы со всеми на фронт. Многие мужики погибли и в Пескарихе, и в Сосновке. И он бы с ними... Разве виновата я в этом?

Но жестокий барабан стучал, перекрывая звон цикад:

– Виновата! Виновата!

Лежала Полина без сил, а Магда шипела:

– Чё разлеглась, как блин на сковороде? Все робят, а она прохладатся. Ты глянь-к, прям, барыня! Барыня в салопе – подпоясана по жопе. Вставай, блуда! – и хлопнула дверь, как выстрелила. Все эти дни Магда была подле неё, а Яник – на тракторе. Он незаменим. Как ожила Полина, и Магда ушла.

Полина встала. Держась за стены, спустилась во двор. Вдохнула сосновую прель весеннего леса. Петух, глянув на неё косеньким, золотым глазком, истерично закричал, шарахнулся в сторону, спасаясь в поленнице.

Кое-как, слабыми пальцами отвязала Полина бельевую верёвку, протянутую через длинный огород, пошла к дровяному сараю. Там перекинула конец сильно махрящейся удавки через потолочную балку, несколько раз перетянула её, потом стала вязать петлю. Когда со всем этим было покончено, утомлённо присела на сосновый колун, иссеченный топором. Из него всё ещё текла смола в тёплые дни. Сидела, плакала крупными, холодными слезами, ни о чём больше не вспоминая и не споря с собой. Вздохнула глубоко, в последний раз, влезла на колун и стала примеряться к петле. Страшная сила выкинула её из сарая, опрокинув шаткий колун, на котором она стояла. Полина упала навзничь на мокрые опилки. Над головой, тряся жидкими белыми волосами, облаком пошло небо, и Полина ясно услышала голос оттуда:

– Вину твою не беру!

4

В это утро Полина исчезла навсегда. Хватились её не сразу – ведь сутками в поле, на ферме, на лесе. Только дня через три появилась дома хмурая Магда, а с ней – чёрный от работы и недосыпа Яник. Нет Полины! Яник, хромая, спотыкаясь, причитал по-бабьи, всюду искал её, кричал, поднял на ноги обе деревни. Шарили багром в колодце, обежали бор, в реке искали – Полины не было нигде. Яник в который раз сунулся в сарай, распахнутый настезь, и тут увидел петлю на которую поначалу не обратил внимания. Повесилась! Он рухнул без памяти, сотрясаясь в конвульсиях. Припадки, отпустившие его, было, вернулись и теперь ломали, били его. Он потерял память.

Когда открыл глаза, увидел Магду. Её твёрдое, не знавшее мужской ласки лицо, задрожало.

– Где она? – прошептал Яник. Магда поджала губы:

– Кто ж знат... Нема... – лицо её снова задрожало.

– Где она? Где? Её вынули из петли? – метался Яник. Магда справилась с лицом:

– Дак она ж и не вешалась! Слынула, блуда! Нема её...

– Как нема? Куда слынула?

– У бисов пытай!

5

Когда Полина осознала своё предательство, то стали ей отвратительны все люди, род человеческий, от коего пошла её грешная кровь. Она не могла жить с людьми, она бежала от них и знала, что убьёт всякого, кто остановит её.

Это ужасало Полину, и она бежала всё дальше и дальше. Она шла к фронту. Там надеялась найти смерть и вместе с жизнью избавиться от своей вины. Она шла наугад: через лесные дебри, через болота, через пустые степи и камни предгорий, и снова через леса.

По ночам ей снилось одно и то же: длинный тоннель, который сужается, становится всё темнее. Её несёт по этому чёрному коридору свистящим ветром. В конце тоннеля – дверь. Она плотно закрыта. Никак не может Полина отворить её, выйти из душной ловушки. Из-под двери струится яркий свет, такой яркий, что обжигает сердце небывалым счастьем, но глаза спит. Полине хочется глядеть на этот свет, глядеть всё время. Она ложится подле двери, чтобы свет касался её. Великая благодать и покой обволакивают её уставшую душу. Но голос из-за двери приказывает:

– Возвращайся! Люби и мучайся! Ты ещё не научилась любить. Люби!

Полина скребётся в дверь, пытаясь отворить её, войти туда, где голос, где покой и счастье, но не даётся дверь. Сильный ветер выносит Полину из тоннеля в жизнь. Она просыпается там, где затаилась с ночи.

6

В степи пристала к ней собака. Лиска. Караулила её сон, растянувшись у лаза в какую-нибудь земляную нору. Отпугивала от неё встречных собак, если путь проходил вблизи человеческого жилья. Иногда воровала зазевавшихся кур и тасшила, перехватив тонкую птичью шею, и опускала добычу у ног Полины. Масть у собаки была лисья, рыжая, и мордочка острая, хитрая. И уши – торчком. Хвост вот только подкачал: закручивался калачиком, но всё равно – Лиска!

Полина не помнит сколько прошла. Парусиновые туфли её на красных пуговках давно истёрлись, и она где-то оставила их в придорожных кустах. С первыми холодами появятся у Полины другие башмаки, или обрезанные пимы, или старые калоши, подвязанные бечёвкой, а пока она идёт так. Босые ноги почернели, потрескались, разбухли от ходьбы. Ленивая белая пыль больше не приставала к ним.

Лиска бежит рядом, не отставая, терпеливо перенося душную пыль и надоедливых насекомых, низко пикирующих над дорогой.

Идёт Полина деревенским жарким просёлком. Лиска белой стала от пыли. Солнце тоже в белой пыли: тяжёлое, мохнатое, еле дышит. Вечер скоро. Ночью Полина нарост молодой картошки в колхозном поле, наворует огурцов. Ей стыдно. Стараются выбрать огурцы поплотнее: перезрелые, похожие на рыжие камни. Иногда разживалась и хлебушком, и горячей едой, если решалась заночевать в какой-нибудь окраинной мазанке, сбитая с ног ливнем. В степи после оглушительного зноя бывают бурные ливни – с грозами и смертоносными молниями. Вопросов Полина не любила. И без толку беседующие с ней хозяева вскоре умолкали:

– Ну, Бог с тобой, Бог с тобой... Блаженная...

Шли на свою половину и там долго ещё в темноте вздыхали. Гостья чем-то тревожила их, а чем – не могли объяснить. Будто укор какой видели они в ней, и жизнь их, тихая и правильная доньше, казалась им теперь с каким-то обманом, неправдой. Они искали эту неправду – и не находили, но тревога оставалась. «Блаженная...» – вздыхали, так и не разрешив своей тревоги.

Полина засыпала в чужом углу коротким, чутким сном птицы. Засветло поднималась, завязывала потуже бумажную шалёнку и шла себе дальше, неведомо куда.

Лето кончилось. Осенние холода задули со всех сторон. Снег, вода и грязь превратились в вязкую няшу, а Полина всё шла и шла – по этой няше, потом по осеннему, утреннему стеклу, по ржавой отаве, переходила вброд мелкие речки, огненные от стужи, через большие – плыла на пароме, вместе с колхозными лошадьми, которых отправляли на фронт, с угрюмыми вдовами, тихими детьми, обмотанными большими платками. Никогда ни с кем не говорила, кроме необходимых для жизни слов.

Если шла лесом – ночью спала, как зверь, под корнями сосен, выстелив лапником себе берлогу. Если шла степью – пряталась в сенной стог. И всё гремело у неё в ушах:

– Вину твою не беру!

С началом ярких, зимних дней, Лиска начала нервничать. Далеко, за мелким лесочком, гулко и настойчиво лаял большой пёс. Лиска замирала, поднимая острые уши, страстно сглатывала слюну, потом, виновато взглянув на Полину, стремглав неслась через блистающее белое поле, пока не превращалась в солнечное пятно.

Полина равнодушно следила за ней. Перевязывала наново бумажную шалёнку, и шла, шла, шла – по бесконечной дороге, укатанной, утоптанной, прибитой ветром ещё за тысячу лет до этого дня.

– Куда идёшь? – спрашивала дорога.

– На Кудькины горы!

Грелась у костра возле брошенной кошары. Там и спала, зарывшись в старое сено. Снег под ногами постепенно превращался в вязкий студень, потом в мо-

крую коричневую землю. Земля подёргивалась туманной зеленью. И, наконец, ослепляла гусиным луком, одуванчиками, первыми ромашками.

Отдыхая на сухой кочке обочь дороги, Полина однажды обнаружила у своих ног Лиску, которая сидела, высунув розовый язык, будто тут и была всегда. Лениво зевала, тёрлась о Полинины чулки, оставляя рыжие клочья линяющей шерсти. Как Лиска нашла Полину – неизвестно, но теперь они опять продолжали идти вместе, и шла с ними трава, переползая через дорогу, оплетая холмы, пряча в своей зелени руины, расстилаясь по всей земле.

Чем ближе к фронту, тем страшнее было смотреть по сторонам. В полях обросшие бурьяном торчали печные трубы. Они выли от ветра, будто все домовые России собрались на тризну. В мусоре, в кирпичных обломках рылись человеческие тени. Глаза их горели жёлтым, безумным огнём. Здесь, в одном из полувыгоревших сёл, Полина узнала, что война кончилась, что победа, мир, и кто живой – теперь вернётся. Полине ждать было некого. Она заплакала и снова вспомнила:

– Вину твою не беру!

Лиска немного поскулила возле её ног, но гораздо больше занимал Лиску большой серый пёс, уже несколько дней маячивший невдалеке от них. Теперь, перемахнув через изгородь, отделяющую деревню от выгона, он приблизился к Лиске. Она подняла острые ушки, выровняла шерсть на спине и побежала к нему, поблескивая белым зеркальцем задка.

Они кружили по зелёному выгону, катались в траве, хватая друг друга нежными зубами, а потом исчезли за холмами, усыпанными первоцветом.

«Вот так же и я: бежала к Сане, – подумала Полина, – бежала, а он...». Новая волна горя захлестнула её, затмила сознание. Она не помнила, где она и как шла, по ночам преклоняя голову прямо на сырой земле.

Лиска нагнала Полину в еловом лесу. Виногато лизнула ей руку, потом всю дорогу блаженно жмурилась и оглядывалась на синие заречные холмы, чутко ловя каждый звук, прилетавший оттуда.

Полина шла бесцельно, не зная, куда и зачем несёт она свою тёмную жизнь. Весна, лето, осень – всё слилось в одну бесконечную дорогу...

8

С началом новой зимы набрела она на одинокую избушку. Дыма из трубы не шло. Свежий снег пятнали только крестики сорок. Кругом стоял еловый лес – чёрной стеной. Судя по всему, место нежилое. Охотничья сторожка, должно быть, заброшена...

Полина решила войти и остаться там. Бог даст, замёрзнет.

В сенях пахло сухой травой и старым угаром. На полу валялись тряпки, черепки разбитой посуды, сломанный капкан. Дверь в избу была тяжёлой, примёрзла, и Полина с трудом отодрала её. Из холодного мрака отозвался голос:

– Кто это?

Приглядевшись, Полина увидела в углу топчан и человека, накрытого бараньим тулупом. Он старался опереться на локти, но падал в тряпье, набросанное, как попало. Белая, неровно обросшая, будто выеденная молью, голова его часто тряслась, и старик никак не мог сосредоточиться на госте. Наконец, он увидел её:

– А-а, ты не зверь, тоже человек...

Полина молчала. Лиска, раньше неё угадавшая всё, жалобно заскулила.

Старика разбил паралич. Ноги не ходили, и он уже восемь дней лежал один в этой избе. Одноглазая Райка, которая жила с ним последнее время, ушла. Сняла со стены связку беличьих шкурок – их совместный промысел, выковыряла из стены, из тайника, несколько пачек крупных ассигнаций, нажитых стариком ещё до войны. Выследила, падла, где прятал. Всё это она аккуратно сложила в самодельную котомку. Старик бился на своём топчане, кричал, угрожал ей, плакал злыми слезами, но сдвинуться с места не мог, а Райка глядела ему прямо в глаза жёлтой рысёй точкой и продолжала своё дело. К топчану прислонила ружьё с одним патроном. Потом ловко вскинула поклажу на плечи, и, ничего ни сказав, ушла. Старик хотел выстрелить ей вслед, но сил у него не хватило.

* * *

Полина осталась в избе. Вытопила её, выгнала нежилой дух. В узелке у неё было немного еды. Полина накормила Старика, поддерживая его трясущую голову. Он сильно ослаб. От долгой неподвижности на теле Старика появились пролежни. Полина растирала их. Перетащила больного на лавку, ближе к печи, и обмыла его сухое сморщенное тело. Он закрыл глаза, чтобы не видеть своего сраму – баба была молодой ещё. А Полина молчала.

– Как звать-то тебя? – слабо прошелестел Старик. Она не ответила. И стал он называть её про себя Душа. Ни о ком не думал он так, а теперь не мог пересилить нежности. Странная она, конечно, битая жизнью, но всё ещё красивая, тянет к ней – это Старик сразу заметил. Опробовать бы её, да сил нет.

Обиходив Старика, Полина уходила в лес. Собирала мёрзлые ягоды рябины, не расклёванные птицами. Разгребала снег, откапывала какие-то корни, неизвестно откуда ведомые ей. Многое, как и любовь, и вина открывалось ей само собой. Лиска помогала – птиц ловила, давила зайцев.

Однажды наткнулась Полина на тушу лося, задранного, видать, волками или медведем-шатунум. Лось был уже почти съеден, остатки захоронены под снегом, про запас. Зверь где-то недалеко отлёживается. Надо было торопиться. Полина перетащила куски туши к избушке, спрятала в холодных снях. Ночью за лосем пришёл хозяин – огромный волк. Могучая холка его была обрызгана серебром. Поодаль сидела стая, готовая к броску – разорвут за минуту. Полина пошла к ним, но тут вожак стаи глянул в глаза Полины – и попятился, и зарычал, и метнулся в черноту леса, и вся стая за ним.

* * *

Когда Душа была в комнате, Старик смотрел на неё с любовью, ловя в лице её хоть какой-нибудь признак внимания к нему, ласки, желания улыбнуться, но Душа не замечала его, даже когда растирала сильными, горячими ладонями его тело и онемевшие ноги. Хотелось старику поговорить с ней, да не решался: кто его знает, как она оказалась в эдакой глухомани, сюда не каждый дойдёт. Может, из тюрьмы сбежала, или каторжная какая, из врагов народа. Как бы и его вместе с нею по этапу потом не отправили в «тёплые края» – хаживали, знаем! Ведь найдут: люди добрые не найдут, а эти, которые чекисты, найдут, из-под земли достанут. Боялся Старик и врагов народа не уважал: гнильё!

Еда кончалась быстро, и Душа уходила в лес. Тогда Старик отворачивался к стене и вспоминал. Разное приходило на ум. Чаще всего – охота. Сколько он за свою жизнь побил зверя – страсть! Вспоминал подробно, где у него охотничьи засады, ухороны, будто шёл сейчас по лесу наяву, а не в воображении. Прикидывал также, сколько бы мог взять за беличьи шкурки, не унеси их одноглазая Райка. Он видел эти бумажки, засыпавшие стол, много бумажек! И сердце его сильно заныло. Подумав о Райке, вздохнул он о своей жене, которую забил в пьяной ярости. Молодой, дурной был. Недолго потом поболела, с месяц, наверно, и померла. Тихая такая. Слова попере́к не скажет. Он снова вздохнул. Детей разобрали сёстры жены. Так он их больше и не видал. Где они, что? Может, на войне поубивало. Может, живы. Не видал. Сам вскоре после смерти жены попался на браконьерстве, да ещё коней в колхозе украл, продал на сторону и получил срок. Потом сидел ещё дважды, но воровского дела своего не бросил, только стал теперь хитрее, осмотрительнее, ушёл на новые места – леса везде полно по России, а покупатель не спрашивает, законно или тайком убил ты зверя, скотинкой разжился – всё берёт.

Старик самодовольно улыбнулся своей ловкости и считал жизнь удавшейся. Одно приводило его в недоумение: финал. Осмыслить свой удар он не мог, и бессилие перед судьбой затмевало всё, даже украденное Райкой добро. Шевельнулось в нём, было, слабое подобие совести – материны слова вспомнил, перед смертью говорила:

– Так живи, милоч, штоб на том свете раздумье не брало!

Но тут же и померкли. Сжимая кулаки, он твердил одно: «Выжить! Выжить!» Гюрью перетерпел, война мимо прошла – не задела, и теперь выживет. Если болезнь отпустит, вернутся силы, он возвратит уплывшие денежки. Райку разыщет. Хоть и стерва, а вдвоём всё ж таки веселее. Только бы встать!

Появление в сторожке Души принял он, как спасение и знак, что ни перед кем он неповинен. А Полина думала своё: ничтожен Старик, да только она ещё ничтожнее. За грехи, видать, великие наказан, но если поднимет она Старика, пойдёт он – значит, простится ему вина, а через него – и Полине, может, будет помилование. Помочь доброму человеку всякий может, а вот падшему не каждый захочет, и кто поднимет падшего – зачтётся тому. Но жестокая правда жгла её: что же ты ищешь избавление от вины своей в помощи падшему, если помощь твоя корыстна? Однако бросить немощного Старика она уже не могла и осталась с ним.

9

Гудела затопленная берёзовыми поленьями печь. От неё шли волны жизни. Булькала в котелке еда. Полина нашла в дальнем углу чёрной полки, в пыльной банке, остатки пшена и теперь варила похлёбку.

Лиска, дремлющая у порога, вскинула остренькие ушки: ей почудился отдалённый лай большой собаки. Он стал звучать всё явственнее, и она заскреблась, запросилась на улку. Полина выпустила её – холод только гоняет туда-сюда.

Прыгая через каменные сугробы, обдирая брюхо об их колючие хребты, неслась она на любовный призыв высокого, серого пса, замаячившего в лесных сумерках. Он вытянулся в струну, ожидая её, а она, падая в снег, хватая горячим языком воздух, всё никак не могла добежать до него и жалобно визжала, со сле-

зой в голосе. Но вот встретились, схлестнулись, покатались по голубому снегу, понесли, понесли – к самой кромке неба, пока не превратились в созвездие Гончих Псов. Встало оно над лесной сторожкой, посверкивая крупными звёздами звериных глаз. А вокруг – россыпи алмазные, пыль морозная, заледеневшая река Млечного Пути с чёрными полыньями.

10

... До весны жила Полина возле Старика. Прислушивалась по ночам к его хриплому дыханию. Пытливо приглядывалась утром к его тускнеющим, белым глазам. Шептала горячо в пустоту:

– Господи, прости и помилуй! Прости и помилуй!

Она не знала молитв, не умела креститься и раньше, как и все в деревне, не верила в Бога. Церковь взорвали ещё в революцию, она и не помнит её. Только фундамент от храма остался, и над ним – старухи говорили – по ночам поднимался столб света. Полина не видела и думала: врут старухи! Но теперь ей необходимо было кому-то выдохнуть свою боль, и она шептала, как мать когда-то:

– Господи, прости и помилуй! Прости и помилуй!

Старик вздрагивал от её шёпота, поднимал голову: каменная, сидела она у печи, и пробирал старика озноб:

– Помешанная!

Он не мог постичь её, как и многого в жизни, потому что никогда не нуждался в осмыслении происходящих с ним перемен. «Помешанная!» – так разрешил он очередное своё затруднение, и первоначальная его нежность к ней сменилась недоверием и ненавистью. Теперь он старался больно ударить её или ущипнуть, когда она поднимала его, чтобы сменить выпачканные тряпки. Капризничал, заставлял её первой пробовать еду: нет ли отравы? Потребовал топор, спрятал его себе под лохмотья. Душа теперь собирала на растопку хворост: дров без топора не нарубишь. Но ни слова не говорила. Молчала по-прежнему, только по ночам шептала что-то, у себя, на припечной лавке. Старик не спал, караулил её, но так ничего и не узнал о ней, а она о нём ничего и не желала знать.

Полина высохла от недоедания, пожелтела и вызывала в Старике всё большее отвращение. Он бы убил её, если б мог, если б не зависел от неё. Но иногда слепая неприязнь так захлёстывала сердце, что он хватался за топор, бросал в Полину и всякий раз промахивался. Руки ослабли и потеряли прежнюю ловкость, а ведь однажды он с двадцати шагов попал топором между глаз медведю, вставшему на него из берёзового завала – Старик по дрова вышел из сторожки, с одним топором, без ружья. Он и теперь был без ружья. Ещё в первые дни, как стала Полина жить с парализованным Стариком, улучила момент его забытья и разрядила ружьишко в лесочке, в воздух, чтобы не взбрело больному в голову что-нибудь плохое – не убил бы себя. Висит пустая игрушка на стене: ни себе, ни людям. А топор всякий раз отдавала: если попадёт в неё – вот и будет ей казнь.

Мутными, безумными глазами следил Старик за Полиной, а она все его издёвки принимала, как должное, и радовалась любой боли, как искуплению своей вины. Теперь не вспоминала она подробности своей любви к Сане, его слова, его неловкую нежность, да и самого Саню помнила смутно. Вина выжгла память о нём.

Старик теперь всё чаще думал об одноглазой Райке, укравшей деньги и беличьей шкурки. Кривой она сделалась из-за него. Пальнул в неё дробью, как белку в глаз. Из ревности. Переметнулась она как-то к другому охотнику, Ваське Рынде. Вот и проучил Старик Райку. После этого Рында стал выслеживать Старика, который тогда ещё не был Стариком, а звался Макаром Крысой. Пуля однажды пронеслась у самого виска Крысы, обожгла свистящим огнём, впиалась в багряную сосну, за которой прятался Крыса. Несколько раз выстрелил Рында – и ни разу не попал. Но Крыса-то уж не промахнулся, как наступил его час – с одного выстрела завалил Рынду. Там же, в лесу, и закопал, а одежду его бросил у реки, будто утонул Рында. Так и подумали. Надеялись, что река вынесет тело – на девятый день она выносила, но тут не отдала, и Василий Рында числился пропавшим без вести. Макара Крысу, конечно, сначала подозревали, допрашивали, но ничего не дознались, и отпустили. Ружьё Рынды тоже не нашли. Да где ж его найдёшь, если Крыса ружьё в болоте утопил. Так что, Райка ему досталась, как честный охотничий трофей. Тосковал он по ней. Ему казалось: это сама жизнь бросила его – жестокая, но понятная, и поселилась теперь в одном с ним доме смерти: костлявая, угрюмая, необъяснимая.

Он, убивавший разную живность, сызмала охотник, привык к смерти, относился к ней без особого страха. Придёт время, и он умрёт, как умерли его дед с бабкой, мать с отцом, потом жена. Закон природы. Но теперь, когда срок этот подошёл к нему близко, он заметался. «Не хочу! Не хочу!» – кричало в Старике всё, что билось, пульсировало, двигалось – было живым, и ненавидело пришлую Душу.

Старик простил бы вероломную Райку, лишь бы она вернулась, прогнав эту, костлявую...

Когда Старику становилось легче, он думал: вот, встанет, костлявую прогонит – пусть идёт, куда шла, на што она ему? Укрепит себя лесным мёдом – он знает несколько диких пчельников, погрызёт молодильных корешков, попьёт свежей оленьей крови – и вернётся к нему бывшая сила. Вон, голова уже меньше трясётся, и тело перестало гнить. И тогда он непременно разыщет кривую Райку, обокравшую его. Вряд ли она ушла далеко. Думает, наверно, что он уж на том свете. Врёшь! Ничего, разыщет. Пулю ей в лоб, или дом подожжёт. У неё в деревне дом, он знает. Денег, конечно, не вернёт, зато отомстит.

Глаза Старика прояснились, лицо розовело, и он чувствовал нарастающую твёрдость в дряблых мышцах. Он выживет!

Он не верил, что может исчезнуть, превратиться в дохлую тушку, как подстреленный глухарь или белка, вызывая чувство превосходства у живых.

Он глотал пищу большими кусками, отбирая у Полины, но пища выходила назад, неперевавшими комками, сотрясая его измученное тело. И всё же он карабкался к жизни, вцепившись в неё зубами. Однако постоянный страх перед непостижимой Душой убивал в нём остатки сил.

Как появиться первой траве, Старик умер.

Полина несколько дней сидела неподвижно на своей лавке, не веря этой смерти. И только когда Старик начал невыносимо смердеть, очнулась. Вытащила топор

из-под лохмотьев на топчане, вырыла яму в оттаявшей лесной прели. Обернула Старика кусками берёсты и засыпала мокрой землёй. Всё. Что же делать дальше?

С кончиной Старика жизнь её снова потеряла смысл, хоть барабан не стучал больше в висках, и с неба не сходило никаких голосов.

13

В начале лета Лиска, пропавшая накануне в лесу, привела к избушке толстого рыжего щенка. Он тыкался ей то и дело в брюхо, дёргая отвисшие сосцы. Она ласково отгоняла его, а сама горделиво поглядывала на своё дитя. Полина равнодушно отвернулась. Она рвала молодые еловые свечки и ела. Потом собрала нехитрые свои пожитки, закрыла сторожку на белую щепочку, и пошла через лес неведомо куда. Вольная трава тут же затягивала её следы, хищные стебли переплетались между собой, дышали пылью, мёдом, переполняясь ими до краёв, до обморока. Земля шевелилась от новых корней. Жизнь не знала удержку.

Полина шла и шла, не замечая смены дня и ночи, лета и зимы. Лиска пропадала. И снова нагоняла её, заливаясь счастливым лаем. В январские ночи, под зелёным месяцем, бежала она через белые равнины к большому серому псу, который мчался навстречу ей, дрожа от нетерпения и страсти. Они кувыркались в снегу, оставляя глубокие лунные кратеры.

И только Полина всё шла и шла, не останавливаясь. И несла она, угревая за пазухой, новорожденного щенка Лиски.

СЫН ПУШКИНА

В дремучем, как в сказках, лесу прятались две деревни – Баклуши и Лошкари. В одной когда-то били берёзовые да липовые баклуши, а в другой – из этих баклуш-заготовок точили разные ложки: и простые, русские межумки, и широкие бурлацкие бутырки, и обычные – с тупыми носами, и остроносые, как поморские лодии. И хоть говорят, что в ложке моря не переедешь и ложкой моря не вычерпаешь, а без ложки нет жизни. Даже и в голод – нечего хлебать, дай хоть ложку облизать. Ложка домом пахнет. А поел – так и вовсе хорошо: ложки тебе и песню сыграют, и в пляс пустятся, веселясь в руках твоих.

В достатке жили встарь и Баклуши, и Лошкари. Возили в город свой товар, и народ хорошо его брал. Но потом стали хиреть деревни, стал вырождаться старинный промысел, молодёжь подалась на сторону, где веселее. Остались в лесной глухомани одни старики. Да и к деревянным ложкам пропал у народа интерес – подавай всем теперь заводские, из мельхиора под серебро. Да разве есть в них душа? Пустозвоны. Никому и в голову не приходило на таких ложках песни играть. А нет песни – нет и жизни, душа тускнеет. И дошло до того, что вовсе пропали деревни – сгорели от молнии. Старики-погорельцы переселились в большое село Зверуши, за лес-елань, а кто к детям в город переметнулся, кто сдался в Дом престарелых. Только две избы уцелели: одна в Баклушах, одна в Лошкарях. В Баклушах жила старуха Берендейка, а в Лошкарях – дед Лошкарь. И ни в какую не хотели они покидать свои избы, как бы их не уговаривали и какими бы пряниками узорными не сманивали власти. Заперлись на засовы

спустили собак – не подступиться. Выдохлись власти, махнули рукой: «а-а, живите, как знаете!» Посадили в полуторки последних переселенцев, и только пыль взметнулась до небес.

Берендейка с Лошкарём перекрестились, сели на завалинки и весело оглядели родное подворье, где каждая трещинка в срубе знакома с детства, где каждую травку у заплота знаешь по имени. И не зря ведь их избы Бог уберёг, обошёл огонь Божий Берендейку с Лошкарём.

Берендейка даже песенку завела, тонким детским голоском. Когда-то известная певунья была, в деревенском клубе выступала. Было у неё тогда нежное имя Ангелина, а потом забылось, стали звать по отцу, который вместо полезных ложек вырезал никчёмные игрушки-берендейки. Так и пошло – Берендейка. И Лошкарёв не всегда был Лошкарём, тоже ведь крестили его, в день святых Петра и Павла, нарекли Петром, а мать ласково звала Петруша. Он и теперь иногда слышит молодой её голос:

– Петруша, Петруша! Иди, молочка попей!

А он, пятилетний, прячется от неё в лопухах, стрелка пырея щекочет шею, и так ему смешно, так весело, что хохочет он и выдаёт себя матери. Она, босая, белоногая, бежит к нему по узкой огородной тропе:

– Ах, вот ты где, топтыжка!

Хватает на руки, а он хохочет, он хохочет – прямо, заливаясь, выгибается в руках её, а мать целует его в горячую щёку, а мать целует:

– Дурачёк! Не хохочи так, а то пупок развяжется!

Но и сама не удерживается, тоже смеётся, кружится с ним, несётся вихрем вместе с солнцем, огородом, близким лесом, пока не падает в перемятую траву, и Петруша рядом с ней. И открывается огромное небо, гудящее синим колоколом, и словно говорит оно, что знает великую тайну, которую никому не скажет. И затихают они, и так лежат, тесно прижавшись друг к другу. И кажется Петруше, что он всё ещё в ней, в матери своей, под сердцем у неё, и никакие злые силы его не достанут, потому что заслонён он от них крепким куполом материнского неба.

* * *

Всё бы ладно, да только враждовали между собой Берендейка и Лошкарёв. Давно это началось, в молодые годы. Лошкарёв и жених Берендейки, Сашка Киреев, на рыбалку пошли, на озеро. Сашка хвастал, что видел огромную щуку, и непременно её выловит. Звал её Королевишна. Сашка жадный до рыбы был, вот и метался по озеру, вот и выглядывал в чёрных омутах свою щуку. Далеко Сашка уплыл от Лошкарёва, тот его и не видел уже в утреннем тумане, который внезапно выполз из камыша, с неба зазмеился – всё заволок сырým, белым дыханием. Поднимался, раскачивался, как лохматое чудовище, к лесу плыл, разрывая крылья о чёрные ели, дышал тяжело от своей тучности. Лошкарёв забеспокоился: где же Сашка? Ведь пропадёт! Когда туман ушёл, в берег ткнулась Сашкина лодка. В ней лежала огромная щука, ощерившая зубастую пасть, но уже снулая. Поймал всё ж-таки Сашка свою Королевишну, а сам исчез. Стали его искать. Нашли в озере. Видать, щуку-то выволок, брякнул в лодку, а сам перекинулся через борт – не удержался и как раз попал в водовёрт, закурило его, утянуло на дно.

Не простила Берендейка Лошкарю, что не спас он жениха её, что не утонул вместо него. С тех пор он на неё и взглянуть боялся – огнём палила, выжигала до дупла.

Так она его и не простила. Не разговаривает с ним, а он ведь любит её. И в молодости любил, и теперь любит, но она и близко его к себе не подпускает.

Лошкарь, в глухом своём одиночестве и тоске, привык беседовать с собакой Чалкой и Лесным Дядей – так тут лешего зовут. В лесу-то люди леснеют, а в людях – люденеют. Вот Лошкарь и леснел помаленьку. Многие не видят домовых и леших, а Лошкарь видел. Лесной Дядя прятался в чёрных руинах погорелья, сливался с ними, но иногда высовывался из-за рогатых, обугленных коряг, а то и подходил к ночному костерку, который разводил Лошкарь, чтобы отогнать гнус. Лесной Дядя спиной садился к огню, грел ломотную поясницу, а рожу никогда не показывал. Лешие этого не любят. Страшные они, остроголовые, волосатые. Иногда заставлял Лошкарь Лесного Дядю за лешачьей забавой: гонял тот зайцев из одного берёзового колка в другой. Видать, в карты проиграл другому лешаку. У них так заведено: проиграешь – зайцев гоняешь.

Лес глухой, высоченный. Небо только вверху видно – окошком синим мерцает. И такое безмолвие иной раз бывает, такая тишь, особенно, зимой, сердце обмирает, и думает Лошкарь: уж не помер ли я? Ущипнёт себя – вроде живой. Накинет заячью шубейку, высунется в дверь – чернота одна со всех сторон, лес непроглядный, чёрный, руины деревенские чёрными ведьмаками надвигаются. Перекрестится Лошкарь, да скорей глаза к небу вскинет – там чуть светлеет вроде. Ага, месяц вышел! Но тоже, идёт лесом – не треснёт, идёт плесом – не плеснёт. Озеро в лесу ещё не встало, ещё только плёнкой тонкой задёрнуло глаз, будто птица спящая. У Берендейки завоет серый кобель Волчок – тут же Лошкарёвская Чалка отзовется. Лошкарь кинет в неё комок снега:

– А ну, цыц! Ивашку испугаш!

Ивашка – домовой. У Лошкаря угол снимает – за печкой.

Чалка отскочит к воротам, хвост прижмёт, а сама томится – воет её собачья душа...

* * *

Берендейку Лошкарь видел редко, но всегда чувствовал её, всегда знал в избе ли она, в лесу или же у озера, где по-старинке любила она полоскать бельё в чистой озёрной воде. Он и мостки ей наладил для этого дела.

Иногда Лошкарь просыпался среди ночи, прислушивался – он всегда слышал дыхание Берендейки, хоть жила она в другой деревне, на краю липовой рощи. Ежели затаивала Берендейка дыхание, молясь иконе, то Лошкарь скоренько влезал в обрезанные пимы и бежал к её избе. Ещё издали видел в ледяном её оконушке красную точку – негасимый огонёк лампадки. Лошкарь притаивался в роще, развесившей хрустальные ветви на полсвета, и слушал Берендейкино ночное бдение, лиственный шелест губ её, читающих долгие молитвы. Тихо возвращался к себе, сворачивался калачиком на лежанке, как в детстве, и счастливо засыпал: Берендейка рядом и снова придёт во сне – молодая, весёлая, в венке из ромашек. Придёт и поцелует в самые губы, и песню запоёт – звонкую, удалую, из дальней-дали, когда озоровали в их лесах разбойники и крали деревенских красавиц, и несли их за синие моря, за высокие горы, скакали верхом на серых волках, и все красавицы были царевнами, а разбойники – добрыми молодцами.

* * *

Вот как-то в одну зиму пошёл дед Лошкарь в чащу, хвороста набрать, да и просто прогуляться. Засиделся на печи, на девятом кирпичи – задница запрела. Уж и набрал хворосту, и назад собрался, да слышит – под ёлкой пищит кто-то: зверушка не зверушка, не пойми кто. Он лапы-то еловые приподнял – мать честная! Дитё. Закутанное в одеялко, живое. Лошкарь оглянулся туда-сюда: где ж его мамка? Нет никого. Бросила да сбежала, стервь! Как только в глушь эдакую забралась? Но зло прытко – доскачет и улитка. Может, и не сбежала, может, волки задрали. Младенца не тронули – и у волков бывает жалость. А надо сказать, волков в ту зиму много шныряло. Мороз. Голод гнал их аж до Зверуш, а это километров сорок от Баклуш и Лошкарей. Девка, что бросила младенца, была, скорее всего, из этого села, из Зверуш. И как добралась? Нигде никаких следов, если на санях приехала. Правда, накануне снег прошёл, запушил следы. Из города вряд ли сунулась, тот и вовсе далёко. Не с неба же она упала?

Так и не разрешив эту загадку, дед вынул из-под ёлки найдёныша, сдул снежок с его тёмного личика – ещё удивился, отчего он такой тёмный? А, может, младенцы-то все такие? Но раздумывать было некогда – мороз совсем разошёлся, шубу свою белую распахнул, снег давай вытрясать из-за пазухи, жечь огнём колючим. Побежал Лошкарь к своей избе – мороз за ним гонится, но Лошкарь шустрее его, хоть и старик. Бежал, бежал, а потом одумался: он же сроду с детьми не обретался, не знает, что и делать с имя. Надо к Берендейке нести находку, авось, не убьёт с дитём-то, да и коза у неё – выпоит младенца.

У Берендейки была когда-то девочка – от Сашки Киреева, тайная. Сашка жениться обещал, но всё тянул, всё хитрил: мол, погоди до Троицы, потом до Покрова. Носила она незаконное дитя под широкими кофтами-юбками, пряталась и родила тишком-молчком, да повезло бабе – девочка эта тут же и померла, а то было бы позору на все деревни, страшно даже подумать. Но Лошкарь знал Берендейкину тайну – Сашка сам ему секретно сообщил, после того, как девочки не стало. А потом добавил, сплюнув на снег:

– Теперь-то она мне вовсе никто!

Лошкарь знал и то, что есть у Сашки любовница в Зверушах, вертизадая продавщица из сельпо, Людка. К ней он мотался на своей лошадёнке. Она и к Лошкарю липла, это уж после Сашки, да Лошкарь цыкнул на неё:

– Уйди, холера!

Людка противно скривила губы:

– У-у! Волчина-бирючина!

Лошкарь бы и выдал Сашку Берендейке, да как выдашь? Друг он ему, с детства друг, и в армии вместе служили...

Потоптавшись на крыльце, которое Берендейка каждое утро чисто выскребала веником-голиком, Лошкарь всунулся к ней в избу. Берендейка нахмурилась, кочергу из-за печи выдернула. Тут сиротка голос подал. Берендейка вмиг кочергу отбросила, забрала у Лошкаря свёрток – и на лавку, к печке. Развернула – парнишка, только чёрный больно, на обезьянку похож.

– Боже святой, спаси и помилуй! – перекрестилась Берендейка, а дитя давай улыбаться ей, гукать.

– Как человек!

Берендейка вынула из сундука чистые тряпицы, ловко перепеленала парнишку, тогда только глянула на деда, который мялся у порога и не знал, что делать, что говорить.

– Ну, чё, Лошкарь! Ерой! На осьмом десятке робёнка вон рОдил, а бают: мужики не рожалые! В Африку, што ль, бегал, черноту-то таку принёс?

* * *

Этот найдёныш и примирил Берендейку с Лошкарём. Решили они не умирать, пока не вырастят мальчика. Вначале-то война промеж них снова вспыхнула: стали спорить, как назвать мальчишку, но потом сошлись на том, что имя ему даст Берендейка, а фамилию – Лошкарь. Назвали его Сашкой, в память о женихе Берендейки, а фамилия стала Лошкарёв. И ещё договорились старики: молчать о найдёныше, да ещё таком небывалом – черномазеньком, не показывать никому, прятать от чужих глаз, чтобы власти не отобрали, не замучили в детдоме. А не подумали: как же он потом жить-то будет, без людей, без документов?

Когда Сашка подрос, грамоте стали учить. Лошкарь обучал по книгам, которые остались у него с давних времён, и он их перечитывал – раньше-то большим книгоцеем был. Азбуку сам нарисовал. И ещё рассказывал Сашке о разных странах и народах, которых на земле великое множество, о разных мировых чудесах, звёздное небо растолковал. А Берендейка читала Сашке Библию и заставляла молиться перед иконой Богородицы с младенцем. Водила и в церковку. В глухом, мешёристом углу чёрного леса скит был, монахини жили, а при нём деревянная церковка. Постепенно скит вымер, одна монашка осталась – Паланя. Берендейка помогала ей, подкармливала. Паланя и окрестила Сашку. Потом и Паланя преставилась, а церковка как-то держалась. Да и то сказать, Лошкарь подправлял её, бодрил, отгонял Лесного Дядю, который норовил подгадить: затягивал церковную тропу травами ползучими, ядовитыми, трусил туда муравьёв, выпускал жужелиц, паутину по лесу развешивал. Но близко подходить к обители Божьей всё ж боялся. Из чащи глядел, сверкал красными зенками, скулил по-собачьи, скрёб морду свою мохнатую жёлтыми когтями – расчесал до крови. Ходил потом в струпьях срамных, руками закрывался. Стыдил его Лошкарь, гнал от себя. А потом скучал: хоть и нежить, и выдумка бесовская, а всё равно жалко. Прижился около старика. Своим вроде как стал.

Ну, так вот, в эту деревянную церковку и водила старуха Сашку. Он полюбил особую тишину, особую радость, которая охватывала его, когда он входил под серебристые от времени церковные своды. Берендейка била поклоны старинным иконам, а Сашка плакал. Он всегда плакал в церкви. И уходил оттуда лёгким, как пёрышко, летящее от губ светлых ангелов.

* * *

Сашка не был склонен к учёбе книжной, а вот лесную науку постигал радостно. В семь лет он уже ходил с Лошкарём на охоту, тянул сети на озере, добывал дикий мёд, что прятали пчёлы в старых дуплах. С Берендейкой собирал ягоды, грибы, лесные орехи, целебные травы, косил траву для козы.

Сашка хорошо понимал и вековые деревья, и озеро, и зверьё всякое, и птиц. В науке этой превзошёл даже пестунов своих – Берендейку да Лошкаря. Только людей не знал. Чем старше становился Сашка, тем сильнее Берендейка с Лош-

карем стали понимать своё преступление, но отказаться от Сашки не могли, и продолжали молчать о нём, если изредка бывали в Зверушах, а на их погорелье никто не заглядывал.

Весело Сашке у старухи Берендейки. Говорит она присказками. Всё у неё, как песня. Кормит щами из дикого шавеля или ухой, а сама выпевает: «Ложка-то узка – таскат по три куска. Надо её развести, штоб таскала по шести!», «Красна ложка отхлебатся, красна ложка под лавкой валятся». Лошкарь тут же сидит, тоже хлебает щи. А потом оближет деревянную ложку – золотую, в кудрявых цветах, да прихватит ещё ложку Берендейки – красную, с петухом, да ложку Сашки – в алых гроздьях рябины, ударит друг о дружку и пойдёт плясовую играть ими. Да так ловко, так весело, что ноги сами в пляс пустятся. Пляшет Сашка, подперев бока, вскрикивают под ним сосновые половицы – щёки огнём горят! Берендейка не налюбуется парнишкой, а потом схватит в охапку, уж целует его, целует, пока он не ослабеет от её нежностей, сползёт на пол из её горячих рук.

* * *

Берендейка с Лошкарём держали своё слово и не умирали. Но легко сказать, а как обмануть-то годы? Всё в руках Господних! Вот Берендейка и молилась Богу, и просила продлить ей жизнь ради сыночка, обрётённого чудом. А Лошкарь испытывал старинное поверье. Надо, говорили в старину, к Рождеству заморозить озёрную воду в ложке. Если пузырями пойдёт – к долгой жизни. Если ямка сверху пукнет – к смерти скорой. Налил он, как сказано. Вздунулась вода в ложке, выскочили круглые пузыри, как рыбы глаза. Вот и ладно! А Лесной Дядя шуршит в сенках, елозит мохнатой задницей по деревянной крышке, надвинутой на кадку с солью: хочет доложить, как помог он Лошкарю – всю ноченьку глаз не сомкнул, дул на ложку с водой, пузыри нагонял.

– Да слышу, слышу! – пыхнул дед клубком пара в рожу Лесного Дяди, хоть и закрыл её лешак лапами меховыми. – Отличился! Молочка, вон, на, похлебай, Берендейка дала! – плеснул ему в деревянную корчажку на крыльце, выгоняя на улку. Лешему в лесу дом, нечего шастать по избам, домового Ивашку притеснять. Ивашка уж и так обиделся – лёд на окнах наскрёб, наелся, лежит теперь, стонет за печкой – остыл, горло ему обложило. Придётся топить до утра, выжаривать избу, угревать хворь зимнюю. Но и Лесной Дядя обиделся, приревновал к домовому – к молоку даже не притронулся. Всё Чалка вылакала.

* * *

Сашка рос быстро и переимчивый был. Перенял у Берендейки моду складно говорить и складушками своими веселил стариков.

Людей Сашка видел только издалека, затаившись в зарослях молодой осоки: рыбаки иногда появлялись на озере, на другом берегу. А так никто к ним в лесную глушь не захаживал. Но был один случай, зимой. Дровосек как-то заблудился в лесу, замёрз. Лошкарь привёл его в избу, отпоил чаем из лесных трав и вывел потом из лешачьей чащи к дороге. Лесной Дядя следом бежал, сторожа свою добычу, но Лошкарь погрозил ему кулаком, и леший, подвывая от досады, отстал.

Пока отогревался Дровосек у них в избе, Сашка сидел за печкой, рядом с домовым Ивашкой, за ситцевой занавеской, куда запихал его Лошкарь, припугнув,

что если Сашка высунется – Дровосек заберёт его, посадит в мешок, утащит к себе и на лопате сунет в печь, и зажарит, и съест, как в сказке про бабу Ягу и глупого Иванушку. Вот Сашка и сидел тихо за печкой, в обнимку с домовым, но в дырочку в занавеске всё ж подглядывал, и домовому глядеть давал. Страшный был Дровосек: с красным лицом, с бородой огненной, с бровями, которые торчали лисьими хвостами, нависая над глазами злыми, щучьими, и вместо рук – рачьи клешни, а сзади – хвост бычий. Так Сашке казалось.

Шёпотом рассказывал он потом Берендейке, какой страшный Дровосек. Берендейка тоже глаза округлила, да скорей креститься:

– Свят, свят! Сгинь, отродье нечеловечье, болезнь овечья! Спаси и помилуй, Господи!

Прижала парнишку к груди мягкой, пахнущей оладьями и воскресеньем. И задохнулся Сашка от слёз, и плакал долго, сладко, пока не заснул у бабкиной груди.

Лошкарь тихо вошёл, устроился у печи и глядел с умилением на спящего сыночка. И в это сокровенное мгновение старики были чем-то единым, нерасторжимым, как весь мир – от тёмных елей в лесу до звёздной крупы, от невесомой снежной пыли до неуловимой души, которая трепетала и таяла от счастья внутри стариков, но неизвестно, где, в какой части их плоти жила душа, и в то же время она парила и сияла вокруг них, обвевая живыми крылами спящего мальчика. И дыхание этих крыл Сашка будет помнить всегда, не в силах объяснить вдруг налетавшего на него, беспричинного счастья. И тогда он заливался слезами.

* * *

Всё бы хорошо, но одно смущало стариков: обличье Сашкино, которое не переменилось с годами. Лицо оставалось тёмным, почти чёрным, волосы сбились в мелкий барашек, и тоже чёрные, будто углем присыпанные. Губы вывернутые, красные, толстые. Сроду таких людей Берендейка с Лошкарём не видывали. Глаза, правда, голубые, как и у них, но вырез глаз опять же не русский. И дикий растёт Сашка: то хохочет над каждым пустяком, то пылает весь от ярости, кидает в стариков, что под руку попадёт, дрожит весь. Но добрый, уж такой добрый сердцем, такой трепетный, будто красна девица. Чуть что – сразу в слёзы, всех ему жалко. А через минуту – опять смеётся, опять весел, прыгает по лавкам, дурачится.

* * *

Стало тут Сашке тринадцать лет. И однажды Лошкарь сказал ему, откуда он взялся у них с Берендейкой. И стал Сашка задумываться, кто ж настоящие у него мать с отцом? Про мать он думал, что похожа она на Богородицу, ведь лик у Богородицы на старой иконе такой же смуглый, тёмный, как у Сашки, и глядит мать на него так жалостливо, так печально, будто страдает, что потеряла его и не может найти дороги к нему: всюду ей Лесной Дядя вредит – путает следы, водит по непроходимой чаще, заманивает в медвежьи ямы. Замирало Сашкино сердце от страха и жалости к матери, и бежал он, сломя голову, сам не зная, куда, пока не ловили его крепкие ещё руки Лошкаря, не несли в избу, где лежал Сашка без памяти на широкой лавке, неподвижно глядя в чёрный от копоти потолок.

Мать и во сне приходила к нему в образе Богородицы, гладила нежно по голове, и свет от неё разливался повсюду. Сашка плакал, всхлипывая, как маленький.

Если у Берендейки ночевал, то Берендейка вставала к нему, утирала ему сонные слёзки, баюкала: «Баю-баю, баиньки! Говорили стареньки, что свет-то хорош, в душу чистую вхож...»

Думал Сашка и об отце. Глядел на себя в осколок зеркала, который стоял у Берендейки на подоконнике. Мутный осколок, в точках отвалившейся амальгамы, но кое-что всё ж показывает. И стал вспоминать Сашка, на кого же он, Сашка, похож? А ведь похож, ведь видел он уже такое лицо. И это совсем не Дровосек. У Дровосека морда широкая была, в веснушках, нос курносый, как у чёрта, и волос огненный, паклей торчал во все стороны. Нет, не Дровосек его отец. Но кто же, кто? И вспомнил – да ведь это Пушкин!

Прибежал Сашка в избу к Лошкарю, схватил книгу «Сказки Пушкина», откинул обложку – вот он, портрет поэта! И словно себя увидал Сашка: тот же длинный нос, толстые губы, курчавый волос, то же смуглое лицо, те же глаза. Одно лицо. Обрадовался Сашка, стал целовать портрет, прыгать с книгой по горнице. Дед Лошкарь со двора услышал его крики и топот, отворил дверь:

– Чё скачешь-то, чё орёшь, ровно козёл на гоне?

– Вот, вот! – показал ему Сашка портрет Пушкина. – Вот мой отец!

Лошкарь сел на лавку, а сам смеётся:

– Дурень ты, дурень! То ведь великий русский поэт, а ты кто? Да и жил-то наш Пушкин когда? Кажись, лет двести назад, не меньше.

– Ну и что? – Сашка не понимал времени. Он знал, что был всегда.

– Какой он тебе отец? – убеждал блаженного недоросля Лошкарь.

– А чё ж тогда я похож на него? – не сдавался Сашка.

– Ну, мало ли... – пожал плечами Лошкарь. А потом и сам задумался: правда, отчего это Сашка похож на Пушкина? Слыхал он, что предки поэта, да и сам поэт, были падки до женского пола и много наплодили ребятишек на стороне. Говорят, целые деревни. А ведь негры порода ядовитая – через все колена любую кровь прошибают. Затаятся на какое-то время, а потом раз – и вылезет негритёнок из русской девки. Вот и пошли от этих чёрных кровей такие, как Сашка, и словила его мать-кукушка негритянского счастье. Может, какая её прабабка согрешила, а девке передалось. Испугалась она: ведь заклюют люди, забьют насмерть пере-судами, да и решила избавиться от страшного приплода.

– Да-а, дела – наша кошка родила...

* * *

Сильно переменялся Сашка. Стал грубить старикам, стал своевольничать. На все их пристыживания отвечал дерзко:

– Вы мне никто! У меня настоящий отец есть, и он знает, где моя мать! Вот найду их и совсем уйду от вас! И не зовите меня Лошкарёвым – я теперь Пушкин, вот!

– Чё ж ты такой поперечный-то стал? – всплакнула Берендейка.

С книгой Пушкина Сашка не расставался – всюду таскал её с собой, и спать ложился, так под подушку её прятал, а то рядом положит, обнимет, будто она живая.

– Ну и ладно, ничего худого в этих его выдумках нет, – успокаивал Берендейку Лошкарь, – ведь какие у него друзья? Чалка, Волчок, да лес. А мы ему уж не интересны – состарели, поглупели. Никого он больше не видит. Дикарём растёт парнишка.

– Чё дальше-то будет? – ещё пуще расстраивалась Берендейка.

Правда, иногда мостился он к Лошкарю, как в детстве, резал из баклуш деревянные ложки, либо утварь всякую: чаши долблёные, ковши-утицы, разукрашенные узорами, черпаки. Сопел от усердия. Лошкарь таял, ему хотелось обнять Сашку, но побаивался – рассердится, отпихнёт. Теперь он этого не любит, а раньше таким ласковым телком был. Вздохнёт Лошкарь горестно, да опять за работу: и тому рад, что рядом Сашка.

* * *

Прошло ещё сколько-то лет, Берендейка с Лошкарём решили, что уж вырастили они Сашку, научили всему, что сами знали. Теперь Сашка и без них выживет. И померли. В один день, будто сговорились. И то сказать, ведь под девяносто лет им уже подкатывало. Устал Господь в ладонях их держать, да и выронил.

Лошкарь, как всегда, проснулся среди ночи, прислушался к дыханию Берендейки – и не услышал. Только Сашка сопел за ситцевой занавеской, а Берендейки не было слышно. Выл Берендейкин Волчок. И Лошкарь завыл, заметался, надевал чуни и не мог надеть, так побежал, босой. Ещё была ночь, но уже разбавлялось ночное молоко туманца синей, небесной водой. Окно в Берендейкиной избе было мёртвое, чёрное. Лампадка, судя по всему, погасла, или огонёк в ней так затаился, что ему не хватало сил осветить сумрак.

Лошкарь толкнул дверь, шагнул в сени – там пахло сухими травами, жёлтым укропом, затем нажал на другую дверь, в избу – она вдруг оказалась непомерно тяжёлой, пошла нехотя, со скрипом. И скрип этот немного взбодрил Лошкаря, будто голос живой.

Берендейка лежала на кровати в белых простынях, и сама вся в белом, белый платок обрамлял чистое её лицо с открытыми настезь глазами. Глаза были неподвижны. Он закрыл их тёмной ладонью. Подержал так, не веря холоду каменных век. Всё ещё боясь её гнева, поцеловал осторожно, нежно в белый лоб и лёг рядом. Когда-то Лошкарь был большим, сильным мужиком, но старость утрясла его, подсушила, так что он не сильно притеснил Берендейку, которая тоже выстарела, лёгкой стала, как осенний листок.

Утром Сашка нашёл стариков мёртвыми. Они лежали рядом, на одной подушке, будто всю жизнь так спали. Лица их были спокойными и светлыми, какими бывают у тех, кто исполнил до конца свой земной долг, кто достиг счастья.

* * *

Сначала, враз осиротев, Сашка растерялся, горевал, но уж больно жизнь была хороша и радостна. Как раз пролетье началось, на лесных полянах горицвет вспыхнул, берёзовый да липовый лес зашумел новой листвой, тонкой и блестящей, омолодились ели, воздух сладким стал от цветения боярки и калины, от пчелиных угодий на озёрных лугах, обновился мох на крышах двух изб, драгоценным изумрудом переливался.

И решил Сашка идти отца искать, а там, глядишь, и мать отыщется. Его страшил незнакомый мир людей, но и притягивал, и казался волшебным – он помнил рассказы Лошкаря о разных странах и народах, о разных мировых чудесах.

Никто его больше не удерживал и не прятал от чужих глаз. Собрал он котомку – перво-наперво спрятал туда книгу Пушкина с портретом «отца», кое-какую еду,

надел на себя, что в доме целым было, без заплат да ремков, простился с избами – домовою Ивашка умер вместе со стариками, теперь избы тоже помрут – и отпустил на волю Чалку и Волчка. Это были уже не ранешние собаки, а потомство их. Вновь молодые, Чалка с Волчком умели сами добывать себе пищу, и Сашка не сильно беспокоился, как они проживут без него. Проживут! Если что, Лесной Дядя поможет: хоть и стар, а живой. Да и голод хитёр – на выдумку скор. Брюхо подведёт – так и воздух прыгнет в рот.

Сначала-то побежали за ним, и Лесной Дядя побежал, прячась в молодом ельнике и подвывая, но Сашка топнул, и они отстали: собаки послушно сели у песчаной дороги, а леший влез на сосну, и глядели они ему вслед, пока он не пропал в летнем мареве.

* * *

Ушёл из лесу Сашка. Шёл наугад. Долго ли, коротко шёл – неизвестно, но дорога вывела его к людям. Удивился Сашка городу. Всё было, как в фантастических рассказах Лошкаря: высокие дома тесно стояли вдоль улиц, мощёных камнем, по дорогам мчались гулкие автомобили, пёстрые толпы людей шли навстречу. От шума и пестроты у Сашки закружилась голова, огненным колесом покатился город. Но потом пообвык Сашка, не глядел уже дикими глазами на город-чудище: с огнедышащими ноздрями, с огромными антеннами улиток на голове, с множеством глаз-окон. На кривых каменных лапах следовал он за Сашкой, но не нападал, только смрадно дышал чужими запахами. Но было над ним знакомое с детства небо, и оно успокаивало Сашку, ласкало летним лёгким ветерком и, дурачась, смеясь, брызгало в лицо грибным дождичком.

Ночевал Сашка, где придётся, но чаще всего около церквей, там и кормился – подавали ему. Везде поражались черноте его лица, но не прогоняли, рассудив так: «Богу всякая живая душа нужна!» Любил бродить по старым погостам с покосившимися крестами и памятниками, украшенными вычурной резьбой, поникшими ангелами и мраморными розами. Так очутился он в одном городке, что стоял на берегу небольшой, но очень шустрой речушки Бурляйки. Пришёл к высоким ступеням белой часовни и на местном кладбище обнаружил могилку, на камне которой с изумлением прочитал: «Пушкин». Беспощадное время стёрло имя и даты, но слово «Пушкин» было отчётливо видно. Сашка остолбенел и не поверил своим глазам. Прочитал несколько раз, вода пальцем по чёрным буквам. Пушкин! Отец!

Старухи, что всегда сидят около кладбищ, видели, как незнакомый странник, с котомкой за плечами, в старомодной фуфайке и зимней шапке, стал бить поклоны серому камню, поставленному недалеко от часовни, стал креститься. Старухи пригляделись к страннику и тоже перекрестились:

– Свят, свят! Негра!

Но откуда в их заштатном городке взялся негру? Пока они думали-гадали, услышали громкий плач. Подхватились да побежали – ближе глянуть на плачущего. Странник лежал на могиле Пушкина, обнимал её, уронив на холмик африканскую свою, курчавую голову, и плакал-причитал. Старухи кое-как успокоили его, яблок дали. Поплакав, ушёл он, а старухи давай обсуждать странника, что странник-то этот, видно, родственник Пушкину, а почернел от горя, хоть и молодой совсем. Так бывает. Тут стали думать, кто ж такой, этот Пушкин? Одна

старуха вспомнила: да, жил у них в городке когда-то, ещё до войны, плясун по имени Пушкин – так чечётку отбивал, что пол в избе провалился.

– Да нет, не этот Пушкин тут лежит, – стала спорить с ней другая старуха, – тот потом умотал куда-то, а тут похоронили Пушкина, который до наших баб шатался. Бабы даже дрались за него, а мужики, которые обманутые, охотились за ним. Он потом, в зиму, ещё пропал. Нашли его убитым, под мостом Бурляйки, без этого самого...

Тут старухи давай хохотать и толкать в бок рассказчицу:

– Чё, правда, чё ли, без этого самого? Ой, помру – не воскресну!

А старуха, развеселившая компанию, совсем себя героем почувствовала. Загордилась! Но спесь с неё сбила Маня-дурочка – так звали третью старуху:

– Помню я этого Пушкина, как же! Тискал меня в камышах, и звали его, кажись, Авдей, а, может, не Авдей, может, наоборот Мирон, или, может...

Но её перебила четвёртая старуха:

– Ну, занеможила! Уймись уже, гулёна! Не твой это Пушкин, а другой. Сказывали мне ранешние старики, что жил тут когда-то один солдат по прозвищу Пушкарь, потому как на французской войне стрелял из пушки, да так метко – сразу мог положить сто штук, этих картаев, а то и поболе. Он тут покоится, он! Вот истинный крест, он! – божилась старуха – И могилка-то ведь старая.

– Да ладно тебе, с твоими французами! – отмахнулась от неё первая старуха. – Ты пришла, ты наших покойников не знаш. – И к Мане-дурочке:

– Мань, скажи, как он тебя тискал?

И другие старухи заинтересовались:

– Скажи, скажи!

Маня-дурочка зарделась по-девичьи, глазки долу опустила:

– А то я помню... Но лучше всех был! Как медовый пряник...

Старухи с уважением обернулись на оплаканную странником могилку, а потом опять стали спорить. И несколько дней спорили. И некому было старух рассудить, который из местных Пушкиных лежит на их погосте, а странник был бестолков и только плакал.

* * *

... Так с тех пор и повелось. Где и чем жил странник – никто не знал, а появлялся, будто из земли выростал. Если подавали убогому хлеба Христа ради – брал, но ел не жадно, аккуратно обирал крошки с выцветшей фуфайки, деликатно выедал горсть. Потом сорвёт листок, слижет утреннюю росу, и бредёт к погосту. Поднимется по невысокому холму, помолится белой часовне на горе – солнце как раз лучи свои раскинет, крестом золотым взойдёт над Божьей обителью. Странник и обомлеет в восторге, в сон-забытьё впадёт. Как потом оказывается у могилы Пушкина, и сам не помнит, будто крылья его невидимые по воздуху перенесли. Пробудится от рыданий, которые потрясут его углую плоть. Припадёт к камню погребальному, целует, целует, и землю под ним всю исцелует. А потом сядет рядом, молчит. Может, и говорит что, но про себя – губы-то его, красные, африканские, шевелятся. Тёмные щёки, омытые слезами, посветлеют, расправят ранние морщины. Он даже красив тогда.

Поговорит так, затихнет, слушает, кивает обнажённой, курчавой головой, будто слышит отзыв из-под земли, будто понимает он голос потусторонний, живой

для него и родной. И счастьем озаряется смуглое лицо, и глаза горят солнцем незакатным...

* * *

А потом, говорят, прижился он в монастыре – на другой стороне речки Бурляйки. Послушником стал. Истово молился Матушке-Богородице и часто приходил на могилку «отца» – неизвестного Пушкина...

НЕВЕСТА АСЛАНА

Милочка Олсуфьева была нехороша собой, и все говорили – нехороша. Но ей было двадцать лет, и она мечтала влюбиться в кого-нибудь, ходить на свидания, чтобы ей говорили красивые слова, а она бы краснела, стеснялась, а сердце бы колотилось колокольчиком.

Работала она библиотекарем в детской библиотеке, куда приходили дети с мамами, бабушками и никогда с отцами, либо взрослыми братьями. На улице мужчины на Милочку не смотрели. А больше и негде было взять женихов. Но Милочка крепилась. Ждала своего часа, а он всё не наступал. К двадцати пяти годам стала она тосковать. Дали ей к тому времени комнату в коммуналке. Милочка брала левую работу – печатала на машинке чужие рефераты и диссертации и скопила деньги на хорошую мебель, телевизор купила, принарядилась. Всё у неё теперь было, но...

«А что, если на Север податься? – думала она. – Говорят, там, на Севере-то, легче замуж выйти...» Решила посоветоваться с Антониной, своей соседкой. Антонина отрезала сразу:

– Бред! Уж кого здесь замуж не берут, на того и там не позарятся. Ну, может, какой и побалуует с тобой, покантуется с мясчишко, а потом – тю-тю! Ведь у них по тёплым краям законные жёны сидят, ждут своих мужиков с большими деньгами. Да каждая такая глотку тебе порвёт за своего-то! И не думай даже. Сиди уж, не рыпайся!

Никого, ближе Антонины, у Милочки не было, и она послушалась её – не поехала на Север. Но тоска не проходила. Когда возвращалась с работы, хотелось Милочке, чтобы дома ждал её любимый, которому бы она рассказывала разные новости. Утром оборачивалась на окна своей комнаты: вдруг Он смотрит ей вслед, надо рукой помахать. Тюль на окнах слегка шевелилась, будто Он и впрямь стоял за шторами, провожал и встречал её.

Долго она так обманывала себя, пока край не подошёл. Тогда появился в её жизни Стёпка, кочегар из общежитской котельной. В котельной он и жил, крепко выпивал и приходил к Милочке всегда навеселе. Она быстро впихивала его в комнату, чтоб никто не видел, но всё равно о Стёпкиных походах знали. Кормила его, стирала заношенные рубахи, пропитанные сажей, купила ему новое бельё. Стёпка всё принимал, как должное, и жениться не хотел:

– Чё я, дурак, што ли? У меня жена есть. Захочу – пойду до неё!

Милочка пыталась его образовывать, книги давала. Стёпка книги брал, но никогда не возвращал. Однажды она обнаружила в его котельной обложку «Братьев Карамазовых».

– А книга где?

Стёпка курил, и потому пустил ей дым прямо в нос:

– А там! – махнул на печь, сыто урчавшую малиновым пламенем. – Она читат!

– Ты что, сжѐг Достоевского?

– Ага! И его, и других. Хренотень одна!

– Да как, да как ты мог! – закричала Милочка, но Стёпка не стал слушать, вытолкал сожигательницу на улицу:

– Иди, там ори! Тут тебе не библиотека, тут серьёзный объект, поняла? Тут посторонним вход запрещѐн!

Она обижалась, но потом прощала, заманивала Стёпку к себе, кормила пирогом, рыбными котлетами, наливала вина и сама выпивала с ним. И вот наступал заветный миг, когда они шли на раскладной диван.

Если нечего было выпить, Стёпка материл Милочку. Она плакала за шкафом. Стёпка ещё пуще распускался, хлопал дверью и пропадал недели на две-три. Милочка страдала, шла в котельную, унижалась. Стёпка кобенился. Наконец, Милочка показывала ему бутылку, спрятанную в сумочке. Тогда Стёпка снисходил, возвращался к ней.

Антонина презрительно упрекала Милочку:

– Дура ты, Милка! Нашла себе кавалера. Уж лучше никакого, чем такого. Брось, пока не поздно!

– Не могу... – виновато шептала Милочка. – Тебе хорошо, у тебя вон семья, дети...

Антонина глядела на неё свысока: она была длинная, в баскетбол играла, а тоже мужа себе нашла – коротышка, между ног у неё проходил, как сквозняк, но куда там! Гордилась перед Милочкой – замужня! А вообще-то Антонина – она добрая. Жалела подругу. Вздыхала:

– И вот чѐ ты привязчива така, как собака? Горюшко моѐ! Так и будешь маяться: одни алкаши да придурки тебе остались...

Неизвестно, сколько продолжался бы этот безысходный роман Милочки, если б Стёпка не отравился палёной водкой. Случилось это в ночь на новый 1975 год.

Посмотрела как-то Милочка на себя в зеркало, да и обмерла: уродина! Волосы тусклые, глаза потухли, лицо серое, будто пылью подѐрнуто. Кому такая нужна? И она придумала вот что: уехать насовсем из города, забиться куда-нибудь, в глухой угол, где одни старики обитают, и там дотягивать век. Среди стариков-то, небось, не так заметно будет её уродство.

На этот раз не стала она советоваться с Антониной – та как раз на баскетбольных сборах была. Сама всё решила Милочка. Продала мебель и телевизор. Рассчиталась с библиотекой. Сходила на Стёпкину могилку, поплакала там. А потом подхватила лёгкий чемоданишко и поехала, неведомо куда – на Кудыкины горы.

Мчалась на поезде, задыхалась в тесных пропылённых автобусах, шла пешком, тряслась на попутной арбе, снова шла пешком, снова ехала на поезде, снова шла, пока вконец не обессилела.

Остановилась у самой кромки воды и – задохнулась! От резкого запаха соли и водорослей закружилась голова. Так ошеломлѐнно смотрел, наверно, на бесконечное пространство моря древний кочевник, пересекший пустыню Гоби, азиатские степи, Уральские горы, зимние леса Руси.

Море было спокойно. Мелкие волны подбегали к Милочке, щекотали ей босые ноги, непривычные к земле. Босоножки она сняла сразу же, как увидела обвал неба, только над головой оно было посветлее, а у ног – сгущалось до чернильного блеска.

Милочка сбросила платье, выкупалась, и ей показалось, что за одно мгновение она смыла всю свою прежнюю жизнь: горькие слёзы по ночам, непоправимое своё уродство, роман со Стёпкой. Всё отлетело, будто и не было.

Она пошла вдоль моря к посёлку. Он лепился у подножия холмов. Раскалённый песок. Каменные сакли с плоскими крышами, сложенные кое-как, словно бы неумелыми детскими руками. У порога открытых дверей – женщины в чёрном. И по улице ходили женщины в чёрных одеяниях, будто в посёлке этом был траур. Лица строгие. Неподвижные. Не поймёшь, что у этих людей на уме. На Милочку не глядят, идут себе мимо. Странно, подумала Милочка, должны бы глядеть, хотя бы из любопытства – все женщины любопытны, а эти будто не живые. Ей стало казаться, что не по селу она идёт, а смотрит какой-то фильм с выключенным звуком: сама людей видит, а они её нет. Она – по другую сторону экрана.

Степь лежала во все стороны, но посёлок теснился у воды, похожий на баранье стадо, кучерявясь голубыми спинами невысоких холмов. Там росла полынь. Нежно-зелёная в апреле, к середине лета она голубеет и от зноя дурманно пахнет. После осенних дождей полынь побелеет, накопит яд и станет отравлять молоко быстроногих коз. Как не следи за ними – убегут на холмы, наедятся горькотравья, мало им хорошей низинной травы, да прутьев акации. Козам хочется гор! Скачут по каменистым холмам, высекая острые искры.

Воздух был сухой, не смотря на близость моря. Металлически поблескивающая под солнцем вода тоже казалась раскалённой, сухой – она шелестела, а не плескалась, набегаая на шершавый песок, который тут же высыхал, едва откатывались волны. Босым ногам было больно ступать.

Милочка обулась, но вскоре горячая земля стала прожигать и сквозь подошвы босоножек. Лицо и открытые плечи Милочки успели покраснеть от загара и теперь болели. Она накинула на саднящие плечи косынку и пошла от дома к дому. Она хотела снять комнату, хорошо бы окнами на море, хорошо бы недорого, ну, и чтоб хозяйка не злая. Перевести пока дух, а там видно будет, что дальше делать...

Люди не понимали Милочку. Глядели на неё хмуро и прижимали к губам концы чёрных платков. «Видать, уродство моё их пугает, – грустно подумала Милочка, и не обиделась на хмурых людей. – Наверно, прогонят, а, может, привыкнут...»

Наконец, ей удалось найти старика, который от неё не отвернулся, а, главное, он сносно говорил по-русски. У него она и справилась, не сдаёт ли кто комнату, уже не надеясь на удачу и не зная, куда ей идти. Да и по правде сказать, ей не хотелось больше никуда идти, уж больно ей здесь понравилось. Она не хотела отрываться от моря, от этих диких скал, от переключки коз и крика чаек. Она даже подумала, что, может быть, когда-то, в какой-то прошлой жизни, она жила уже здесь и радостно теперь узнавала милые сердцу пейзажи.

Как и другие, сидел старик у каменного порога дома, на низкой скамеечке, но не празднично: помалу сапожничал. Насадил на железную лапу огромный ботинок из толстой буйволиной кожи и менял подметки. Старик благоухал «Шипром», будто вылил на себя целый флакон.

Маленький ростом, имел он такой внушительный нос, что было странно, как нос не перетянул всю его шуплую фигурку и не поверг на землю. Старик напоминал одинокого орла, сидящего на груди камней. Тем более, что сакля его была похожа на беспорядочное нагромождение каменных глыб.

Взгляд у старика орлиный, острый, а вот шея – тонкая, морщинистая, совсем как у индюка, в остатках седого пуха. Сочетание было смешным, и Милочка еле сдержала себя, чтобы не рассмеяться.

Наряд старика тоже выглядел потешно: напялил он на себя две рубахи – розовую в мелкий цветочек, и белую, бязевую. «Из-под пятницы суббота» – хихикнула про себя Милочка. – Вот чудак!» Бумажные полосатые штаны старик заправил в толстые шерстяные носки с большими красными заплатами на пятках. Обут же он был в мягкие, хорошо растоптанные чупяки. Седеющие кудри старика лихо выбивались из-под пляжного кепи с синими якорями. Кепи это ещё больше подчёркивало нелепость старика, и Милочка, робкая от природы, почувствовала своё превосходство перед ним.

Старик, в свою очередь, тоже разглядывал Милочку. И потом, пожав плечами и бурча что-то на своём тарабарском языке, ушёл в саклю. Он вынес гостье складной стул. Она села и застеснялась, что оказалась выше старика: он снова примостился на низкой скамеечке и оказался у её ног. Но его это ничуть не смутило, будто всю жизнь сидел он у её ног, благоухая «Шипром». От этого запаха у Милочки заболела голова, да ещё лавандой несло из степи.

Милочка не решалась повторить свой вопрос насчёт комнаты, а старик будто вовсе забыл об этом. Он был занят работой, придерживая губами медные гвозди.

За спиной у старика, в глубине полуосвещённой сакли, Милочка разглядела на закопченной стене цветные картинки, вырезанные из журналов: вызывающе красивые женщины – ярко накрашенные, завитые, индийский артист Радж Капур – в соломенной шляпе и с косынкой на шее, Фидель Кастро – с чёрной бородой, в берете, а на самом видном месте – неременный атрибут всех сапожников, Сталин. «Чё попало», – подумала Милочка, оглядев ещё раз картинки на стене.

Старик прибил подошву. Обточил её напильником, довольно оглядел, поглаживая маленькой коричневой ладошкой. Наконец, Милочка решилась опять заговорить:

– У кого это нога такая большая? Пряма, великан! – кивнула на готовый ботинок. Старик поставил его у порога, взялся за другой.

– Это ботинки Аслана! – ласково сказал он. Старик щипцами выдёргивал блестящие гвозди из подошвы второго ботинка и аккуратно складывал их рядком, на пороге. Милочка осмелела, ободрённая его дружелюбным тоном:

– И кто он, этот Аслан? – а сама тайком подумала: «Вдруг он молодой и станет мне женихом?»

– Аслан – сын Томико. Он на войне.

– На какой войне?

– На какой же ещё? Которая прошла в сорок пятом... Там он, – и старик кивнул в сторону моря.

Милочка совсем смутилась, запутанная ответом, и хотела спросить: как же так, война давно кончилась, тридцать лет назад, и если человек не вернулся, то значит, погиб. Зачем же тогда чинить ему обувь? Она расстроилась: Аслан не может быть её женихом.

Старик, сняв с ботинка совсем ещё новую, жёлтенькую подмётку и примостив на её место другую, тоже новую, терпеливо объяснил русской девушке, некрасивой, как отметил он про себя с первого же взгляда, но, по всему виду, не вредной:

– Томико ведь как думает: бумаги на Аслана нет, что погиб он. А раз нету – живой. Вот и чинит она каждый год его ботинки, будто носит он их.

Старик легко посадил гвоздочки в готовые дырки, быстро прошёлся по ним молотком.

– Через год снова принесёт. Я эти подмётки сниму, те поставлю, – кивнул он на две прежние заготовки. – Вот и движется у меня дело. Так, говоришь, комнату тебе надо? У Томико и снимешь, чего ей одной жить. Скоро заглянет ко мне. Дом у неё большой, это тебе не моя конура. Чего ей одной...

Милочка оживилась, стала нетерпеливо поджидать Томико, но чтобы не показаться невежливой, чтобы старик не подумал, будто он надоел ей, она спросила:

– А что это у вас женщины-то в чёрном ходят? Жара такая... Вдовы, что ли?

Старик стряхнул с колен кожаные обрезки, отставил железную лапу и опять остренько стрельнул угольками на гостью:

– И так, и не так. Вдовы, конечно. Но тут и другое. Девушки светлое носят, а как замуж вышла – тёмное надевай. Закон такой. Как зовут?

– Милочка... то есть Людмила Олсуфьева!

– А я Коста.

– А по отчеству?

Но старик весело засмеялся, обнажая крупные, живые ещё, зубы:

– Зачем отчество? Просто, Коста! Меня все так зовут, и ты так зови!

«Вот уж, – подумала Милочка, – и совсем неловко мне его так звать. Старухам-то он ровня, а я – ни туда, ни сюда...»

Пока они так беседовали, показалась в проулке высокая сухая старуха, вся в чёрном, глухо повязанная коричневым кашемировым платком, хоть стоял предвечерний, умирающий зной. Солнце начало скатываться к морю, но остановилось на полпути, заснуло, и белые его лучи били прямо в лицо, в крохотные оконца сакли, в дверной проём, в раскалённые за день каменные стены посёлка. Коста глядел прямо на солнце, не заслоняясь ладонью. Возле крыльев могучего его носа скапливались слёзы, высекаемые из глаз солнечным огнём, но он всё равно глядел на нестерпимый блеск гладкого моря, где замерло солнце, а в сторону идущей – нет. Такое равнодушие напустил на лицо – куда там!

Женщина в чёрном приближалась, и Милочка поняла, что это и есть Томико. Коста, словно умел читать мысли, не оборачиваясь к идущей, согласно кивнул:

– Она!

Томико подошла. Степенно поклонилась Косте и Милочке, распаренной от жары, с обгоревшим на солнце красным лицом. Коста стал говорить с Томико на гортанном, непонятном языке, будто были они две большие птицы. Нос у него побагровел, и, кажется, ещё больше увеличился в размерах. Коста клекотал, как орёл. Коста сильно жестикулировал. Томико выкликала свои слова, словно чёрная чайка.

Милочка притворно отвернулась к морю, чтобы не смущать говорящих. Но они и не смотрели на неё. Говорили недолго. Разом смолкли. Нос у Косты порозовел.

потом стал оливковым, как и прежде. Наконец, Коста подал Томико готовые ботинки. Он цокал языком, о чём-то сокрушаясь. Томико придирчиво оглядела работу, поковыряла плотно пригнанные подмётки, пощелкала расщепленным, жёлтым ногтем медные набойки и осталась довольна. Полезла в складки просторного чёрного платья, достала крохотный узелок, извлекла из него мелочь и отсыпала Косте в коричневую детскую ладошку. Коста, не пересчитывая, сунул деньги в карман.

Когда расчёт был произведён, Коста кивнул на Милочку и что-то сказал Томико. Она уставилась на чужачку так, будто только теперь заметила, а до этого здоровалась со складным стулом, на котором Милочка сидела. Томико обошла Милочку кругом, и Милочка подумала с тоской: «Не пустит на квартиру! Ишь, обсматривает. Уродок не видела... – рассердилась, глянула на Томико волчонком. – Ну, и не надо! Дальше куда-нибудь пойду... Земля большая...»

Изучив как следует чужачку, Томико вдруг широко улыбнулась и сказала:

– Пойдём!

Томико пошла, не оборачиваясь. Подмышкой она держала огромные ботинки, сияющие новыми, яркими, как яичный желток, подмётками. От медных гвоздей, вколоченных нынче Костой, от узорных набоек отскакивали лучи угасающего солнца и слепили Милочку. Она то и дело отворачивалась, чтобы уйти от солнца, но это ей никак не удавалось. Милочка тогда до предела сузила глаза и семенила за Томико, которая шла по раскалённой синей гальке крупными мужскими шагами, всхлипывая тяжёлым платьем. Идя за Томико, увидела Милочка, что на спине у старухи платье выгорело, стало серым, истончилось, и под ним угадывались острые лопатки, которые вздрагивали не то от быстрой ходьбы, не то от беззвучного плача. Лицо Томико так ни разу и не повернула к Милочке.

Молча дошли они до каменного дома. Томико резким движением руки отворила дверь, кивнула Милочке. Милочка робко вошла. В доме было на удивление прохладно и чисто. На стене, на самом видном месте, висел большой портрет юноши лет семнадцати. «Наверно, это и есть Аслан! – подумала Милочка, – Красивый!»

Томико провела её в небольшую, недавно побеленную комнату, с окнами на море. Окна от этого были синими.

Едва Томико затворила дверь, оставив Милочку одну, Милочка первым делом юркнула к широкой тахте, накрытой красным ковром. Милочка с ног валилась, так устала. Тело её постепенно остывало. Влажное платье теперь приятно холодило, но лицо всё ещё горело. «Хорошо бы умыться...» – подумала Милочка. Однако лень было подыматься, не хотелось объясняться с хозяйкой насчёт воды: Томико не понимала по-русски. «Как мы с ней жить-то станем?» – подумала напоследок Милочка, но не сосредоточилась на этой мысли, лениво перескочила на то, как славно она всё же устроилась, скользнула сонными глазами по белому, с голубизной, низкому потолку, по пустым стенам. Только колченогий стол и такой же тяжёлый, грубо сколоченный стул стояли между двумя синими окошками. Больше в комнате не было никакой мебели. И незаметно уснула.

Проснулась в сумерках. Не сразу поняла, где она. В прорези окон начищенной медной подковкой горел месяц. Кто-то распахнул створки. С моря тянуло йодом, пряными ароматами южных растений, оживающих к ночи. Из-за неплотно прикрытой двери доносился запах чужой пищи, приправленной, видимо,

какими-то дикими травами. Томико гремела чем-то металлическим и монотонно разговаривала с мужчиной. По голосу Милочка узнала Косту. Это её успокоило. Страх перед хозяйкой прошёл. «Коста здесь, не пропаду!» Она потянулась, сладко, во весь рост. Упруго села. В месячном свете увидела она, что платье её измято, и выходить в нём к Томико с Костой неудобно. Нашарила в чемодане трикотажную кофту с декольте и не мнущуюся юбку, из красного кримплена. Быстренько, озираясь на дверь, переделалась и вздохнула с облегчением. Хорошо бы поглядеться в зеркало, свет включить, но она ещё вечером заметила, что в комнате нет электричества. «Ну и ладно! – вздохнула Милочка. – И при месяце хорошо!»

Она осторожно высунулась из своей двери и очутилась в большой комнате, где суежилась у стола Томико, угощая Косту. Увидела квартирантку и остолбенела, будто она вышла голая. Милочка смущённо прикрыла руками своё декольте. Томико неодобрительно покачала головой и сказала что-то. Коста засмеялся:

– Не слушай её, старую! Пойдём вечерять.

Милочка, стесняясь, бочком села за стол. Томико подвинула ей глиняную миску, куда шлёпнула из чугунок жёлтой каши. Коста ел эту кашу, облизывая от удовольствия деревянную ложку и подбирая упавшие на стол жёлтые комочки. Нос его налился багрянцем от усердия.

– Мамалыга! – пояснил он, видя нерешительность Милочки. – Кукурузу любишь?

– Кажется, люблю, – покраснела Милочка и жалко улыбнулась, стыдясь своей неловкости. Коста полил её кашу тёмной жидкостью из высокой бутылки:

– Вот, ешь! Не бойся, это кизиловая подливка. Вкусно будет!

Милочка робко попробовала и приподняла тонкие бровки: действительно, вкусно! Потчующий гостью Коста и настрожённо наблюдающая за нею Томико довольно рассмеялись.

Ей вдруг стало легко и хорошо за скоблёным, выщербленным столом, рядом со стариками, словно вместе с их пищей приняла она и душу этой земли, куда привела её тоска.

Лепёшки тоже были из кукурузной муки, а на запивку хозяйка подала белую кружку козьего молока, ещё тёплого, парного.

После ужина Милочка взялась мыть посуду, и Томико уступила ей, плеснув горячей воды в большую медную чашку. Коста посидел ещё немного, поговорил с Томико на своём языке – буднично и монотонно, как по всей земле говорят старые люди: долго ли протянется сушь, будет ли нынче урожай, какое средство лучше от радикулита, что пишут дети, которые живут по большим городам и носа не кажут в родительский дом. Да мало ли о чём могли толковать два человека, век прожившие рядом и знавшие друг о друге всё, до последней запятой. Это когда долго не видишься, не о чём говорить, а когда видишься каждый день, то всегда много новостей.

Керосиновая лампа начала чадить, угасать. Коста вытащил кисет, заправил в нос табак, который он когда-то вытряс из гаванских сигар, подаренных дочерью, подождал, когда ярунок подействует, но табак долго осваивался в обширном носу Косты, и, похоже, действовать не собирался. Делать нечего. Кряхтя, старик поднялся, церемонно раскланялся с Томико и зашаркал чувяками к двери. На

пороге обернулась, и Милочка увидела в слабом свете его лукавое коричневое лицо, озорные глазки и ослепительные, ровные зубы.

– А ты понравилась Томико! – сказал он Милочке. Старуха вздрогнула на своё имя, напрягла морщины на лбу, стараясь уловить смысл в русских словах Косты, но не уловила и беспомощно глядела из своего угла, где она составляла в самодельный шкафчик перемытую Милочкой посуду. Коста что-то сказал Томико, и она успокоилась, и тоже что-то сказала. Коста подмигнул Милочке:

– Томико говорит, ты красивая, беленькая. На всём побережье нет таких, как ты. Когда её Аслан вернётся, он женится на тебе. Она тебя теперь невестой сына хочет звать.

Он повторил это слово в слово – по-своему – и Томико тотчас откликнулась, закивала маленькой птичьей головкой, туго повязанной коричневым платком, и посмотрела на Милочку с материнской нежностью. Милочка смутилась, покраснела, но Коста ободрил её:

– Ничего, ничего! Грех обижать Томико. У неё ведь никого нет. Побудь невестой, что тебе стоит, а? Может, Аслан и вправду жив, кто знает... Бывало ведь, что и после похоронки возвращались, даже без вести пропавшие. Может, в плен попал, может, на чужбине где оказался. Всякое бывает... Потому Томико верит, что Аслан живой. Она говорит, ты не просто пришла, тебя Бог послал.

Милочка пожалала плечами, отчего сожжённая солнцем кожа напомнила о себе. Жалко глянула на старуху. Томико стояла прямая, тонкая, вся в чёрном, и терпеливо ждала её решения. Коста добавил:

– Она говорит, что раз ты пришла, то и Аслан скоро придёт.

Милочка лихорадочно сглотнула – получился невольный кивок. Томико обернулась к портрету сына и стала горячо говорить с ним, прижимая к груди худые руки. Коста вновь достал кисет, всунул в ноздри табак, подождал, не разберёт ли его вожаделенный чих на этот раз, но снова не дождался. Тихо вышел он к ночным низким звёздам, и Милочка выскользнула следом. Ей было не по себе, не хотелось оставаться с Томико, перепутавшей всё на свете и говорившей с убитым на войне сыном, как с живым. Будто он скитается где-то и вот-вот придёт, наденет хорошо подбитые, смазанные жиром, не сносимые ботинки из буйволиной кожи.

У моря было свежо. Под молодым месяцем песок отливал нежной голубизной. Всё казалось нереальным, пронизанным фантастическими токами. Небо, земля, море составляли единое, огромное пространство, посреди которого лепилось крошечное селение, и белой точкой маячила одинокая фигурка Милочки. Море ворочало тяжёлые массы воды, рокотало, говорило с небом и землёй. Небо мигало близкими звёздами – отвечало что-то, но Милочка не слышала его голоса. Земля отзывалась металлическим стрекотанием травяных сверчков, вскриками какой-то ночной птицы и придушённым, жутким плачем охотницы-ласки.

Милочка подумала, что, вот, не понимает она языка природы, но живёт ведь рядом с ней и ничего, не мучает её это. Что же не жить ей и с Томико?

В голубоватом сумраке ночи раздался оглушительный чих Косты, такой, что Милочка даже присела от неожиданности.

– Ну! – перевела она дух. – Дошёл-таки табачище до печёнок! Нос, так нос у этого Косты!

* * *

Утром старуха чуть свет подняла Милочку, что-то бормоча на своём языке. Милочка безропотно пошла за ней. Старуха помогла ей умыться, поливая на руки из серого оловянного кувшина. Потом они завтракали вчерашней кукурузной кашей с кизиловой подливкой, запивая тёплым козьим молоком. К завтраку старуха добавила горсть оранжевых ягод кислой алычи. Алычёвое дерево росло под стеной дома, уродливо изогнувшись от задувавших с моря ветров.

Покончив с едой, собрались куда-то идти. Устав объясняться с бестолковой невестой Аслана, Томико сама повязала ей коричневый платок на голову, чтобы солнце не напекло, дала тяпку, и они пошли к холмам, обгоняя стадо коз, которых гнала по узкой тропе крикливая старуха с клюкой – нос крючком. «Вылитая баба Яга! – подумала Милочка. – Таких в книжках рисуют...»

Сразу за холмами отрывалось кукурузное поле. Зелёное среди выжженной белой земли, оно казалось островом, прилетевшим из другой галактики. Утреннее марево струилось возле корневищ, дрожало, раскачивало зелёный остров, и он, казалось, в самом деле, висит в воздухе. Вот-вот стронется с места, поплывёт, поднимаясь всё выше и выше – над холмами, над морем, над всем белым светом. Милочка засмеялась своей фантазии. Томико недовольно оглянулась на неё, но ничего не сказала. Лицо её было сосредоточенным, строгим. Похоже, она по-особенному относилась к этому полю и к тому, что собиралась на нём делать. Кое-где виднелись уже коричневые платки других женщин. «Полоть заставит или землю рыхлить! – с тоской подумала о Томико Милочка, не привычная к сельской работе. – Живьём тут зажарюсь. Невеста Аслана! – с издёвкой усмехнулась она над собой. – Добилась! Подь ты дальше...»

Томико между тем деловито раздвинула длинные стебли кукурузы и вошла в душевные дебри. Милочка стала продираться вслед за нею.

* * *

Каждый день Томико находила работу для Милочка, считая про себя, что нехорошо отстранять невесту Аслана от домашних дел – обидится.

Часто заглядывал к ним Коста, как он говорил: «Навестить ботинки Аслана!». Скучно ему было в одинокой своей сакле. Сыновья жили в городе, а дочь аж в самой Москве, где работала стюардессой на международных линиях, на Кубу летала. Это она в редкие свои приезды к отцу привозила ему гаванские сигары, оклеивала саклю картинками из иностранных журналов, только Сталин у Косты свой. И кепи с якорями она ему подарила. Коста не расставался к кепи, разве что на ночь снимал. Сыновья бывали и того реже, хоть жили рядом. Деньги вместо себя посылали. Коста складывал их в железную коробку из-под сигар, и они тонко пахли заморским табаком. Когда детям надо было что-то срочно купить, он подкидывал им из этой коробки и был очень доволен, что располагает капиталом и может помочь.

Жена Косты, Асия, тихо угасла лет пятнадцать назад. Из неё выросло уроковое дерево. Весной оно парило в воздухе бело-розовым облаком, а летом, густо усыпанное плодами, было золотым. Медово-сладкие, доставались они птицам и осам. Коста любил сидеть под деревом и слушать птиц, угадывая в их щебете звонкий голос Асии, каким был он в юности, когда бежала она вдоль моря, а Коста её догонял, а она хохотала, увёртывалась, брызгалась водой. Ах, Асия!

Коста любил сапожничать. Только бережливые старухи редко чинили обувь, купленную однажды так, что её хватило на всю оставшуюся жизнь.

– Раньше умели делать! – говорили они, и Коста соглашался.

В других, окрестных сёлах, были свои сапожники, так что мало у Косты работы. Как праздника, ждёт он срока, когда появится у его порога несравненная Томико, с ботинками Аслана. Он в тот день, обычно, наряжался и одеколонился крепким «Шипром».

* * *

Милочка радовалась, когда к Томико приходил Коста. Бросала все дела и подсаживалась к нему. Томико неодобрительно поглядывала на невесту Аслана: ветреница! Но молчала, как всегда, замешивая мамалыгу, перебирая фасоль или процеживая козье молоко, которое принесла Милочка. Она научилась доить коз!

Милочке хотелось побольше узнать об Аслане, какой он был, как говорил, ходил, смеялся. Коста понимающе кивал, трубно сморкался в большой клетчатый платок, и неторопливо заводил рассказ:

– Аслан хороший был, теперь таких нет. Бывало, ребята на гулянку налаживаются, а он всё кукурузу мотыжит, матери помогает. Отец-то у них рано помер. Болел. Туберкулёз. Да и старше Томико был на тридцать лет, так что ты не думай, что Аслан тебе по возрасту не пара... Томико с Магометом хорошо жили. Аслан в отца пошёл силой. Ох, и сильный же был Магомет! Мог плечом саклю с места сдвинуть, дерево повалить.

Как-то пал у нас коллективный бык. Раньше-то, до войны, в посёлке своя молочная ферма была, много молодёжи работало, кузница стучала, разъезжали на лошадях джигиты. Весело, шумно было! Теперь тишина, да... Всё хозяйство перевели в Большое село, а тут некому работать – старьё одно. Нам по этому случаю и электричество отрезали, и медпункт закрыли, и школу. Ждут, когда мы все перемрём, тогда и село закроют. Эх, жизнь! Кузница заросла чертополохом. Коровники сгнили. Живут там теперь ласки. А тогда – всё живое было. Ну, вот, лишились мы, значит, быка. Загоревали наши коровки, сама понимаешь. Что делать? Выделили от колхоза деньги и послали зоотехника, а с ним в пристяжке Аслана, в соседнее, Большое село, быка покупать. Там базар бывал по воскресеньям, и сейчас бывает. Торговое село, ещё с давности. Выбрал зоотехник быка – красавец! Синей тучей плывёт по базарной площади, солнце заслоняет. Ударил зоотехник с хозяином быка по рукам, накинул верёвку зверю на рога и потянул за собой. Но не тут-то было: не идёт бык. Упёрся рогами в землю, глаза кровью налил – и ни с места. И так, и эдак с ним зоотехник – не идёт. Что ты будешь делать? Сопит, ноздри раздувает, морду опустил, того гляди, надумает что дурное. Народ давай хохотать – смотрят же, любопытно им:

– Эх, ты, недотыка! Нехитрое дело купить – взять ещё надо!

А зоотехник у нас молодой был, неопытный ещё, вот над ним и смеялись. Посмотрел на это дело Аслан, воздух выдохнул, да поднырнул под быка и поднял его на плечи. Все так и ахнули! А бык не может сообразить, что это с ним такое случилось, только башкой мотаает да слюни вожжой волочит. Допёр его Аслан до посёлка, скинул возле общественного загона:

– Всё!

Здороваться с Асланом за руку боялись. Если он в сердцах пожмёт – кости хрустнут. Вот такой сильный, хоть ещё молодой совсем, семнадцать только. А смеялся, как ребёнок. Зальётся! Глядя на него, всем весело становилось. И добрый был, мать любил шибко. Всё говорил:

– Я тебя, нана, не оставлю, с тобой буду жить. По-нашему мама будет «нана».

– Женишься, уйдёшь! – горевала она. А он своё:

– Нет, никогда не женюсь! С тобой буду!

Жалел её. Детей-то у Томико больше нет. Он один. Перед войной в кузнице работал, как отец. Магомет-то рано надорвался. Вся надежда на Аслана была у Томико, вся на него... Эй, Томико, правильно я говорю? – и он повторил по-своему, гортанно и звучно. Томико грустно посмотрела на портрет сына, замерла, вспоминая, наверно, своего мальчика. Из рук её вывалилась шерсть, которую она теребила, закончив все дела на кухне. Хотела невесте Аслана связать к зиме носки, тёплые, белые, какие были у всех, из козьего пуха.

* * *

Осталась Милочка жить в посёлке. Коста устроил её на работу – почтальоном. У Милочки оставались ещё деньги от прежней жизни, и она хотела отдать их Томико, но та отказалась:

– Спрячь! На свадьбу будут, когда Аслан придёт...

Раньше почтаркой служила Танзиля. Годами была она не совсем старой, но рано угасла. Теперь мало чем отличалась Танзиля от деревенских старух.

До войны, девчонкой, бегала с кирзовой сумкой на ляжке, носила письма и газеты. Если приходили конверты Томико – от старшей сестры, Танзиля подгадывала так, чтобы вручить их Аслану, поглядеть лишний раз на него. Все знали о тайной влюблённости молоденькой Танзили, и Томико знала. Стоило девушке встретить случайно Аслана, Томико уже тут как тут, коршуном налетала на бедную почтарку, и она, краснея и проклиная в душе вездесущую мать Аслана, отставала от парня. Ничего не завязалось между ними. Аслан был равнодушен к Танзиле. Одну мать свою любил. Томико гордилась этим, а Танзиля ей не нравилась: уж больно простовата, и в веснушках вся. Томико желала для единственного своего необыкновенную невесту, не выданную нигде.

Как раз восемнадцать Аслану исполнилось, как война началась. Ушёл он на фронт, уплыл на барже. Осталась Томико на берегу. Каждую ночь ходила к морю, ждала назад. Танзиля пряталась от неё в зарослях кизила, тоже прибегая к морю.

Тяжёлая доля выпала Танзиле – похоронки разносить. Всех вдовами сделала. И хоть женщины понимали, что не сама Танзиля пишет эти бумажки, однако по сей день винят её. Все похоронки она раздала и только одну утаила. Грех на ней. Но никто не знал об этом грехе, потому и гадали: почему упала она однажды в обморок, прямо на дороге. Кое-как водой отлили. Думали: от голода. Только странная она с тех пор стала, будто умом немного тронулась. По холмам бродила, пела дикие песни, а может, выла так – в голос, нараспев. Неизвестно, почему...

Тяжело люди войну пережили. Вон, Томико, уж на что крепкий человек, а ведь тоже не того: чудит с ботинками Аслана...

Теперь Танзиле трудно ходить с почтой – ноги опухают. Бывало, еле тащится от сакли к сакле, крича дребезжащим голосом:

- Фаина!
- Шазина!
- Кама!
- Нуца!

Глядя сквозь неё, женщины забирали газеты и редкие письма. Губы их сурово сомкнуты, чёрные одеяния мрачны. Непрístupны деревенские вдовы, словно каменные стены, окружающие село. Стены эти давно построены. От врагов защищались предки. По бокам стен и башни есть. Кое-где они уже в руинах, заросли пахучим вереском-арчевником, жёсткой полынью. Часть камней люди растащили на сакли и ограды. Дождь и ветер точат остальное.

Возле дома Томико почтарка обычно останавливалась надолго, хоть почту туда не приносила никогда. Все умерли у Томико, а газеты она не умеет читать, зачем ей? Правда, бывает пенсия. Тогда входит Танзиля в дом к Томико, чтобы взглянуть на Аслана: портрет его как раз висит над столом, за который присаживается уставшая Танзиля, отсчитывает деньги для Томико, терпеливо ждёт, когда старуха справится с росписью в ведомости, поставит свой крючок. Аслан узнает Танзилю – дрогнут уголки его губ, но так, чтобы мать не заметила. И Танзиля ответит ему – тоже незаметно для Томико. Но это бывает раз в месяц. В другое время – просто стоит Танзиля у дома Томико, смотрит на молчаливую мать Аслана, горько вздыхает, словно бы сказать ей что-то хочет, но так и не решается. Томико вынесет ей попить, будто именно за этим задержалась Танзиля у её дверей. Почтарка попьёт, потом, понурившись, плетётся к своему двору. Сидит одна на тёплом каменном пороге, вытянув гудящие от ходьбы ноги в толстых чулках. Мелкие слёзы катятся по её, пёстрому от веснушек, лицу к мягким губам. Танзиля слизывает их острым кошачьим язычком – привычно, быстро. Она, поди, и не замечает, что плачет. Сами собой глаза слезятся. Устали от белого света. Но если проходит мимо Милочка, Танзиля выкрикивает какие-то злые слова и кидает в неё камни, которых полно у сакли. Милочка не понимает её гнева, жалуется Косте. Коста качает головой:

- Вай-вай, ревнует!
- Да к кому? К кому меня тут ревновать?
- К Аслану!
- Дурдом какой-то! – а у самой щёки вспыхнут: она невеста Аслана! Она, а не Танзиля!

* * *

Теперь Милочка забирала почту в Большом селе, откуда Аслан принёс когда-то строптивного быка. У Милочки крепкие, молодые ноги, а Танзиля совсем старуха. «Старуха! Старуха!» – кружилась Милочка, колоколом вздувая красное ситцевое платье. Она шла пешком через лиловое поле лаванды. Платье её пропитывалось ароматом цветов, и вместе с Милочкой в посёлок вливалось лавандовое облако. Милочка разносила по дворам почту и раз в месяц пенсию. К ней прикрепили ещё два села, но почты всё равно было немного. Милочка успевала сбежать к морю, отлынивая от многочисленных поручений Томико, которая сама никогда не сидела без дела и ей не давала.

Милочка скидывала огненное своё платье, плюхалась в тёплую у берега воду. Море узнавало её, вскидывалось навстречу круглыми волнами. Милочка визжала, выскакивала из бурлящей пены, но волны нагоняли, хватали за белые от солёной воды пятки, осыпали брызгами её лицо и обнажённую грудь. Милочка ойкала, прикрывалась ладошками, хохотала. Люди посёлка никогда не купались, туристы сюда ещё не добрались, и берег был пустынным. Потом она и море уставали. Милочка сидела у притихшей воды, обхватив тонкими руками колени, глядела на покатую равнину моря, на белых чаек, на далёкие хребты ныряющих дельфинов.

Она ощущала себя девочкой – лет пятнадцати. И ещё ей казалось, что она всегда жила возле моря. Унесло её ветром в чужие края, приняла она уродливый облик чужого человека, а теперь – теперь к себе вернулась.

Вечерами, пробегая мимо зеркала в зале, она видела новое своё отражение: лицо загорело, и ещё светлее, легче стал белокурый волос, в повороте головы появилась грация дикого существа, гуляющего на воле, а глаза наполнились тем восхитительным светом любви, что не одно уже тысячелетие преображает лица. Милочка впервые увидела, что у неё чистые синие глаза, нос классической формы, как у греческих богинь из книги по истории Древнего Мира, оставшейся от Аслана. Томико берегла книгу и осторожно передавала из рук в руки Милочке, когда она просила.

Море лениво выкидывало камешки с причудливыми узорами, похожими на забытые письмена. Милочке нравилось рассматривать магические знаки на розовых, жёлтых, зеленоватых, белых и иссиня-чёрных, плоских камешках. Что писала природа на этих каменных скрижалях? Может, здесь код бессмертия, или история Вселенной? А может, свод каких-то знаний, неведомых людям, или записана музыка моря?

Милочка набирала целые горсти, сушила на берегу, раскладывала перед собой, подбирая по узорам. Ей казалось: ещё чуть-чуть и она сумеет прочитать эти чёткие формулы, ведь понимает же она Томико, совсем немного, но уже понимает.

* * *

По вечерам они долго сидели вдвоём. Милочка листала книгу Древнего Мира, примостившись возле керосиновой лампы. Книга была написана красивыми, чёткими буквами, похожими на узоры морских камней. Прочитать их Милочка не могла. Но она помнила кое-какие мифы древних греков и по памяти рассказывала их Томико, будто читала по книге Аслана. Томико важно слушала. Но чаще всего они молчали. Милочка мечтала об Аслане, а Томико копалась в старом сундуке, где хранилось у неё разное добро: свадебное платье со множеством мелких пуговок и такое узкое в талии, что Милочка удивлялась, глядя на него краем глаза, как только Томико умещалась в таком платье? Чёрный бешмет мужа с газырями всё ещё пах порохом и табаком. Рядом с ним лежала белая баранья папаха и кожаный пояс, украшенный серебром. Пояс тесть носил.

Однажды Томико извлекла из своего сундука шёлковую белую шаль с длинными кистями. От долгого лежания в сундуке по шали кое-где проступили жёлтые пятна, она благоухала сухой травкой, и чем-то ещё – томительным,

сладким. Томико осторожно встряхнула белую шаль, полюбовалась на неё, и накинула на плечи стоящей рядом Милочке:

– Тебе будет! Аслану она нравится, по праздникам всегда просил носить. Тебя увидит – похвалит! – сказала Томико, и Милочка почти всё поняла. Главное: Аслану понравится.

У Милочки на столе стоял теперь портрет Аслана, точно такой же, как на стене в зале, только маленький, в ладонь величиной. Она сама попросила у Томико фотографию, и Томико это одобрила. Милочка наклеила фотографию на твёрдый картон, приделала к картону удобную ножку, и портрет красовался на видном месте, рядом с букетом полевых цветов. Каждый день – свежий букет. Букеты эти появились недавно. Дарил их Милочке экспедитор почты Марат. Марат был маленького роста, косенький, и оттого очень стеснительный. Девушки смеялись над ним, а Милочка не смеялась, и она казалась Марату невиданной красавицей. Он никогда ничего не говорил, только краснел при виде Милочки, и она краснела, и тоже ничего не говорила. Так стояли они несколько мгновений. Потом Марат протягивал ей букет из ромашек или лаванды, садился на мотоцикл и уезжал.

Томико всегда ждала Милочку у порога сакли, подозрительно косилась на букет:

– Где взяла?

– В поле собрала! – врала Милочка. Томико тоскливо думала: «Уйдёт от меня...» А Милочка, напевая, бежала доить коз, потом на кухню – процеживала молоко, собирала на стол, но то и дело почему-то роняла то вилку, то ложку, то молоко проливала. «Уйдёт...» – горевала Томико, закрывая губы концом тёмного платка.

Букеты Милочка ставила у портрета Аслана, будто это он ей дарил. Аслан не спускал с Милочки восхищённых чёрных глаз. Ей казалось, он наскучался по ней в дальних странствиях и никак не мог наглядеться на свою невесту. Милочка тоже подолгу глядела на Аслана, находя в его лице всё новые и новые, родные ей, черты. Иногда он ей улыбался: прощал Марата, но на букеты не хотел смотреть, и Милочка убирала их от портрета, ставила на подоконник. Так и жили. Она не думала о том, что если бы Аслан вернулся, то был бы таким, как Танзиля. Старым. Время сместилось в её сердце. Ей было пятнадцать, а жениху её – семнадцать, как на фотографии. Ночью иногда просыпалась она, чувствуя рядом чьё-то присутствие. Открывала глаза – на краю кровати сидел человек. Туманным облаком был, но она всё равно угадывала в нём Аслана. Мгновение был он рядом, и тут же исчезал, таял в ночном синем воздухе. Ничего не успевала сказать ему Милочка. Рассказала как-то Томико о своих видениях, краснея и стесняясь, думая, что это всего лишь детские фантазии. Томико разволновалась, глаза её загорелись:

– Ты тоже, тоже видела его? Ко мне он часто приходит! Он ведь живой. Рукой не достать, а рядом, я его всё время чувствую, он здесь, здесь! – горячо говорила она. – Он здесь!

* * *

Перед сном Томико и Милочка шли к морю, хрустя в тишине остывающим крупным песком. Каждая песчинка видна. Полнолуние. Вода была белой от пол-

ной луны. Белыми делались и холмы, словно бы их покрывал ровный снег. От яркого лунного света лицо Томико менялось: пропадали морщины и старческая смуглость. Томико становилась молодой, светлолицой, совсем похожей на юного Аслана, и Милочка в восторге глядела на неё.

Долго стояли они у кромки живой воды. Высокая, вся в чёрном, молчаливая женщина, и маленькая девочка, заложившая за спину худые руки с шершавыми локотками. Они ждали: не появится ли на горизонте баржа, которая увезла Аслана когда-то на войну?

Милочка привыкла верить, как и старая Томико, что он вернётся. Просто невозможно было представить, что его нет на свете, нет нигде. Но он же был. Они его не придумали. И значит – вернётся...

В июне 2016 года отмечают:

50-летие

Дихан КАМЗАБЕКУЛЫ, *литературовед*

60-летие

Абай МАУКАРАУЛЫ, *прозаик, переводчик*

80-летие

Кайролла БАЯНБАЙУЛЫ, *прозаик*

90-летие

Батур АРШИТДИНОВ, *поэт*

Редакция журнала «Простор» сердечно поздравляет юбиляров!

